

АЛЕН де БОТТОН

Смелти людвн



Содая

Первый же роман де Боттона «Опыты любви», написанный в возрасте двадцати трех лет, покорила сердца критиков, романтиков и эстетов по обе стороны Атлантики. «Опыты любви» рисуют картину современных взаимоотношений между двумя молодыми людьми. Повествование от первого лица напоминает по форме не то популярный трактат, проиллюстрированный схемами, диаграммами и рисунками, не то колонку психолога в модном журнале. Остроумные и пронизательные наблюдения, своеобразные сравнения и универсальность описываемых ситуаций — вот лишь немногие из удивительных открытий, которые обещает читателю эта книга.

- [Ален де Боттон](#)

- [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
- [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
- [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
- [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
- [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
- [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
-

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)

- [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
-

Ален де Боттон

Опыты любви

ГЛАВА ПЕРВАЯ

РОМАНТИЧЕСКИЙ ФАТАЛИЗМ

1. Наша тоска по всеобщей предопределенности никогда не бывает столь острой, как в те моменты, когда речь заходит о романтических отношениях. Мы слишком часто вынуждены делить постель с теми, кто не способен понять нашей души, а потому можно ли судить нас строго, если, вопреки всем законам просвещенного века, мы продолжаем верить, что нам предназначено судьбой встретить однажды мужчину или женщину нашей мечты? Разве нельзя простить нам почти суеверное преклонение перед человеком, который призван утолить бесконечную тоску? И пусть наши молитвы никогда не будут услышаны, пусть нет выхода из мрачного круга взаимного непонимания — если только небеса не сжалятся над нами, — разве можно в самом деле ожидать от нас, что мы припишем нежданную встречу с этим принцем или принцессой простому стечению обстоятельств? И разве не можем мы хотя бы единственный раз в жизни перестать рассуждать здраво и прямо увидеть в этом неизбежность, продиктованную нашей романтической судьбой?

2. Однажды утром, в начале декабря, без тени мысли о любви или любовной истории я сидел в салоне эконом-класса «Бритиш Эруэйз» на пути из Парижа в Лондон. Побережье Нормандии только что осталось позади, и одеяло зимних облаков, расступившись, позволило нам некоторое время беспрепятственно любоваться блестящей морской голубизной. Скучая и не в состоянии ни о чем думать, я взял почитать бесплатный журнал, пассивно вбирая информацию о курортных отелях и устройстве аэропорта. Было что-то успокаивающее в полете, монотонной вибрации двигателей, приглушенно-сером цвете салона, сладких улыбках служащих авиакомпании. Тележка с набором напитков и закусок двигалась по проходу, и, хотя я не чувствовал голода и мне не хотелось пить, ее движение наполняло душу смутным ожиданием, как это часто бывает во время раздачи еды в самолете.

3. Пассажирка слева от меня сняла наушники и принялась с несколько нездоровым, на мой взгляд, любопытством изучать инструкцию по безопасности, лежавшую в сетке впереди. В инструкции изображалась картина идеальной катастрофы: пассажиры, сохраняя спокойствие, мягко и дисциплинированно приземлялись на сушу и на воду, леди снимали туфли на высоких каблуках, дети проворно надували жилеты, фюзеляж оставался цел и невредим, а горячее чудесным образом не воспламенялось.

4. — Если эта штука навернется, мы все погибнем — так что они тогда тут понарисовали? — сказала пассажирка, ни к кому специально не обращаясь.

— Я думаю, эта картинка должна придавать людям храбрости, — ответил я, поскольку кроме меня слушать ее было некому.

— Как вам кажется, ведь это не самый плохой способ уйти из жизни — раз и все, особенно если самолет ударится о землю, а вы сидите впереди? У меня дядя погиб в авиакатастрофе. А кто-нибудь из ваших знакомых умер так?

Я не смог бы назвать никого, но у меня не было времени ответить: явилась стюардесса и (не зная об этических сомнениях, высказанных в адрес ее работодателей) предложила нам завтрак. Я попросил стакан апельсинового сока и уже собирался отказаться от бледных

сандвичей в пластиковой упаковке, когда моя спутница шепнула мне:

— Все равно берите: я съем ваши, умираю — хочу есть.

5. Ее волосы были выкрашены в каштановый цвет и коротко острижены, открывая пушок на шее. Большие зеленоватые глаза избегали глядеть в мои. На ней была синяя кофточка, серый кардиган лежал на коленях. Плечи ее были узкими, почти хрупкими, а неровный край ногтей говорил о том, что она имеет привычку их грызть.

— Я точно вас не объедаю?

— Нет, ну что вы.

— Простите, я не сказала, как меня зовут. Мое имя Хлоя, — сообщила она и протянула руку через подлокотник. В такой официальнойности было что-то трогательное.

Последовал обмен биографиями. Хлоя рассказала мне, что ездила в Париж на торговую выставку. Весь прошлый год она проработала дизайнером в редакции модного журнала в Сохо. Хлоя закончила Королевский колледж искусств, родилась в Йорке, но еще ребенком переехала в Уилтшир, а сейчас ей двадцать три, и она живет одна в квартире в Ислингтоне.

6. — Надеюсь, они не потеряли мой багаж, — сказала Хлоя, когда самолет начал снижаться над Хитроу. — А вы не боитесь, что ваш потеряют?

— Я об этом не думаю, но со мной такое уже было. Даже два раза — в Нью-Йорке и во Франкфурте.

— Господи, ненавижу путешествовать, — вздохнула Хлоя и укусила кончик указательного пальца. — Еще больше я ненавижу возвращаться, у меня настоящий страх перед возвращениями. После того как я какое-то время не была дома, мне всегда кажется, что в мое отсутствие произошло что-то ужасное — прорвало трубу, я потеряла работу или мои кактусы засохли.

— У вас есть кактусы?

— Несколько, было такое увлечение. Знаю, ерунда, но я однажды провела зиму в Аризоне и как-то прониклась к ним. У вас есть дома какие-нибудь растения или животные?

— Когда-то у меня были рыбки.

— И что с ними стало?

— Пару лет назад я жил с одной девушкой. Она, наверное, меня ревновала, потому что в один прекрасный день отсоединила подачу воздуха и рыбки все передохли.

7. Разговор сворачивал то на одно, то на другое, открывая нам на каждом повороте особенности характеров друг друга, как петляющая в горах дорога неожиданно открывает перспективы, которые сейчас же сменяются новыми, и так шло до тех пор, пока шасси не ударились о покрытие посадочной полосы, а двигатели не заработали в обратном направлении, вызывая торможение. Самолет подрулил к терминалу, где изверг содержимое в запруженный народом зал прилета. К тому моменту, когда я получил багаж и прошел таможеню, я уже влюбился в Хлою.

8. Трудно увидеть в ком-то любовь всей своей жизни, если только ты еще не умер (а тогда это по определению невозможно). Но почти сразу после встречи с Хлоей мне уже не казалось странным думать о ней в таких выражениях. Я не могу даже приблизительно сказать, почему из всех доступных чувств и всех их возможных адресатов я должен был вдруг

ощутить именно любовь и именно к ней. Я не могу претендовать на то, что знаю механизм этого процесса, или подкрепить свои слова чем-нибудь, кроме того, что так оно действительно было. Я только могу рассказать, что спустя несколько дней после моего возвращения в Лондон мы с Хлоей провели несколько часов вместе. Потом, дней за десять до Рождества, мы ужинали в ресторане в западной части Лондона и, как если бы это было самым невероятным и в то же время самым естественным делом, закончили вечер, занимаясь любовью в ее квартире. Рождество она провела со своей семьей, я же уехал с друзьями в Шотландию, но мы находили друг друга, созваниваясь каждый день. Иногда даже по пять раз в день — не для того, чтобы сказать что-то определенное, просто потому, что оба чувствовали: никогда раньше ни с кем мы *так* не говорили, все прежнее было только компромисс и самообман, лишь сейчас мы наконец получили возможность понимать и делать так, чтобы нас понимали, а ожидание (по своей природе мессианское) действительно подошло к концу. Я узнал в ней женщину, которую неумело искал всю жизнь, существо, черты которого видел во сне, чьи улыбка, глаза, чувство юмора, литературные пристрастия, страхи и способность понимать полностью соответствовали моему идеалу.

9. И я именно потому не мог допустить мысль, что встреча с Хлоей была простым совпадением, что ощущал нашу взаимную предназначенность (она не только договаривала начатые мной предложения, она делала наполненной мою жизнь). Я больше не обладал способностью рассматривать вопрос о предопределении с той долей безжалостного скептицизма, которой, по мнению многих, он заслуживает. В обычной жизни не суеверные, мы с Хлоей ухватились за многочисленные детали, пусть ничего не говорящие сами по себе, но, как нам казалось, подтверждавшие то, что интуитивно мы уже знали: *нам суждено быть вместе*. Мы выяснили, что оба родились около полуночи (она — в двадцать три часа сорок пять минут, я — в один час пятнадцать минут), в один и тот же месяц четного года. Мы оба в свое время играли на кларнете и участвовали в школьной постановке «*Сна в летнюю ночь*» (она играла Елену, я — слугу Тезея). У нас обоих было по две больших родинки на пальце левой ноги и по дырке в одном и том же коренном зубе. У нас обоих была привычка чихать на ярком солнце и вытаскивать кетчуп из бутылки ножом. У нас на полке даже стояло одно и то же издание «*Анны Карениной*» (старое оксфордское). Все это, возможно, незначительные детали, но разве не были они достаточным основанием, на котором уверовавшие смогли бы построить здание новой религии?

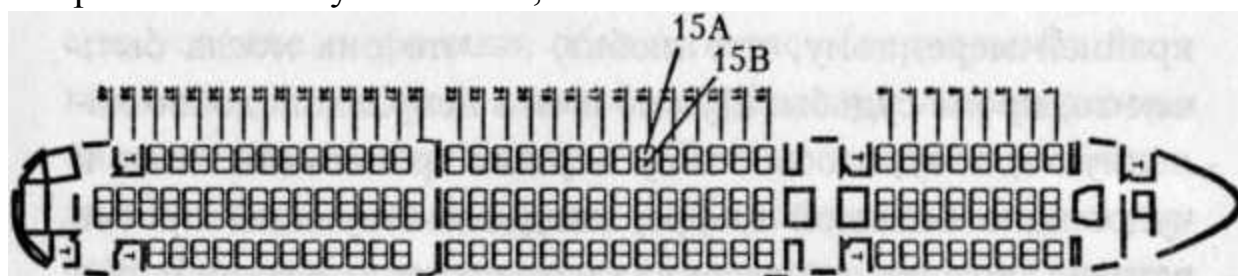
10. Поднимая реальную жизнь до уровня значимого символизма, мы приписывали времени изначально ему не свойственный повествовательный смысл. Мы с Хлоей мифологизировали нашу встречу в самолете, поместив ее в декорации с Афродитой и амурами — акт первый, сцена первая — самого классического и мифологического из нарративных^[1] жанров — любовного романа. Казалось, что с момента рождения каждого из нас гигантский разум на небесах точно рассчитывал наши орбиты, чтобы однажды мы смогли встретиться на борту авиалайнера, совершавшего рейс Париж-Лондон. Поскольку для нас это стало очевидным, мы могли позволить себе не думать о бесчисленном множестве любовных историй, которые не случаются, романов, остающихся ненаписанными из-за того, что кто-то опаздывает на самолет или теряет листок, на котором был телефонный номер. Уподобившись историкам, мы безошибочно приняли сторону того, что уже произошло, забывая о случайной природе всякого события, и поэтому оказались повинны в создании

крупных форм нарратива — Гегели и Шпенглера собственных жизней. Разыгрывая из себя писателей (писатель — тот, кто приходит, когда все уже закончилось), мы сложным алхимическим путем превратили встречу в самолете в нечто заранее продуманное, навязав нашим жизням неправдоподобно высокую степень детерминизма. Поступая так, мы впадали в грех мистики или, если подойти более снисходительно, литературности.

11. Конечно, нам следовало быть рассудительнее. Ни Хлоя, ни я не курсировали постоянно между двумя столицами и не планировали свои поездки заранее. Хлою ее журнал командировал в Париж в последний момент, когда неожиданно заболел заместитель редактора, а я летел только потому, что моя командировка в Бордо закончилась на несколько дней раньше, так что я смог провести какое-то время в Париже с сестрой. Сообщение между аэропортами Шарль де Голль и Хитроу осуществляют две национальные авиакомпании, в день нашего отлета предлагавшие на выбор шесть рейсов между девятью и двенадцатью часами утра. Исходя из того что нам обоим нужно было вернуться в Лондон в середине дня шестого декабря, но каждый до последнего момента не знал, каким рейсом он полетит, математическая вероятность оказаться в одном самолете (но не обязательно на соседних местах) на рассвете составляла один из тридцати шести.

12. Впоследствии Хлоя говорила мне, что собиралась лететь «Эр Франс», рейсом в десять часов тридцать минут. Но как раз в тот момент, когда она освобождала номер, в ее сумке протек шампунь. В результате пришлось переключивать вещи, что означало потерю драгоценных десяти минут. Пока в отеле выписывали счет, разбирались с кредитной картой и вызывали такси, было уже четверть десятого — таким образом, шансов успеть на рейс в десять тридцать оставалось мало. Когда же она приехала в аэропорт, высижив в пробке у Порт де ля Вийет, посадка на самолет уже была закончена. Поскольку ждать следующего рейса «Эр Франс» не хотелось, она прошла к терминалу «Бритиш Эрэйз», где взяла билет на самолет, вылетающий в Лондон в десять сорок пять — рейс, на который, благодаря совершенно иной цепочке обстоятельств, у меня тоже было место.

13. Потом компьютер распорядился так, что Хлоя оказалась над крылом, место 15А, а я — рядом с ней, место 15В (см. ил. 1.1). Начиная разговор об инструкции по безопасности, мы понятия не имели, насколько мала сама вероятность того, что мы вообще станем об этом говорить; ведь, принимая во внимание, что ни я, ни она не годились для полета бизнес-классом, что в салоне эконом-класса сто девяносто одно место, что Хлоя зарегистрировалась на место 15А, а я по чистому стечению обстоятельств — на 15В, теоретическая возможность того, что мы окажемся рядом (притом что шансы вступить или не вступить в разговор подсчитать невозможно), получается равной 110 из 17847 — цифра, которая примерно соответствует 1 из 162, 245.



Ил. 1.1. «Боинг-767» авиакомпании «Бритиш Эрэйз»

14. Этот расчет вероятности сидеть на соседних местах оказался бы верен, конечно, будь в день всего только *один* рейс из Парижа в Лондон. Но таких рейсов было шесть, и, раз каждый из нас колебался, выбирая, каким из шести лететь, и все же выбрал этот, искомая вероятность должна быть еще помножена на исходный один шанс из тридцати шести, что в итоге означает следующее: если нам с Хлоей в то декабрьское утро было суждено встретиться на борту «Боинга-767» «Бритиш Эрэйз» в воздухе над Ла-Маншем, вероятность этой встречи должна расцениваться как один шанс из 5840,82:

$$[p = 1/36 \rightarrow 110/17847 = 1/162,245 \rightarrow 1/162,245 \times 36 = 1/5840,821]$$

15. И тем не менее это случилось. Вместо того чтобы воздействовать силой разумных доводов, расчеты, напротив, лишь подкрепляли мистическое толкование нашей любви. Если шансы того, что какое-то событие произойдет, безмерно малы, а оно все же происходит, неужели не извинительно объяснять его влиянием судеб? Когда мы бросаем монету, вероятность один к двум мешает мне призвать Бога к ответу за выпавшую решку или орла. Но когда речь идет о столь малой вероятности, как в нашем случае с Хлоей, когда возможность встречи сводилась к 1 из 5840,82, само собой покажется немислимым — по крайней мере, тому, кто любит, — что она могла быть чем-то, кроме судьбы. Нужно иметь неправдоподобно холодную голову, чтобы без суеверного трепета отнестись к чудовищно большой цифре, свидетельствующей против встречи, которая перевернула наши жизни. Кто-нибудь в небе (на высоте тридцать тысяч футов) должен был потянуть за ниточки.

16. Рассуждая о вещах, относящихся к области случайного, мы можем придерживаться одного из двух подходов. Философский взгляд в соответствии с принципом «оккамовой бритвы»^[2] ограничивается рассмотрением первичных причин: число причин, лежащих в основании событий, следует уменьшать таким образом, чтобы оно не выходило за пределы прямых причинно-следственных связей. Это означает, что надо искать причины, непосредственным образом отвечающие за то, что произошло, — в моем случае вероятность того, что мы с Хлоей зарезервируем соседние места на один и тот же рейс, а не положение Марса по отношению к Солнцу или внутренние особенности романтического сюжета, автор которого судьба. Но как устоять перед мистическим подходом, подкупающим широтой вселенских законов? Зеркало падает со стены и разлетается на тысячу осколков. Почему это случилось? Что это должно означать? Для философа это ничего не значит, кроме того, что зеркало упало на пол, — ничего, кроме того, что легкое сотрясение и определенные силы, действующие в согласии с законами физики, объединились (вероятность этого можно легко подсчитать) и привели к падению зеркала именно в этот момент. Но для мистика разбитое зеркало исполнено смысла, оно зловещий знак полосы неудач, которая протянется не меньше чем на семь лет, божественная кара за тысячу грехов и провозвестник тысячи наказаний.

17. В мире, где Бог умер сто лет назад, где будущее предсказывают не оракулы, а компьютеры, романтический фатализм приобретает сомнительный оттенок мистицизма. Лично меня моя приверженность идее, что нам с Хлоей судьбой было назначено встретиться в самолете, а потом полюбить друг друга, грозила связать с примитивной системой

верований на уровне гадания на кофейной гуще или хрустальном шаре. Выходит, что, если бы Бог не метнул жребий, *он* или *она*, разумеется, никогда не подошли бы к стойке регистрации.

18. Тем не менее легко представить себе, что мы, окруженные со всех сторон хаосом, невольно стремимся смягчить свой всеобъемлющий ужас перед случайностью, предполагая, что некоторые вещи происходят с нами потому, что они должны происходить, и тем самым приписывая царящему в жизни беспорядку внушающие уверенность целесообразность и направленность. Кости могут упасть каким угодно образом, но мы с маниакальным постоянством возвращаемся к идее необходимости, особенно когда речь идет о неизбежности однажды встретить любовь. Мы заставляем себя верить в то, что эта встреча с нашим избавителем, объективно случайная и потому маловероятная, была заранее назначена кем-то, медленно развертывающим свиток на небесах, и, значит, время (какую бы сдержанность оно ни проявляло до сих пор) должно когда-то открыть нам, кто наш избранник. Что стоит за этим стремлением видеть в событиях часть судьбы? Возможно, только его противоположность — страх перед случайностью, боязнь, что та небольшая доля осмысленности, которая присутствует в нашей жизни, создана всего-навсего нами самими, и нет никакого свитка (а следовательно, нас не ждет никакая заранее уготованная судьба), и все, что может случиться или не случиться с нами (все, кого мы можем встретить или не встретить в самолете), не имеет другого смысла, кроме того, который мы сами решили ему приписать, — одним словом, страх, что не существует Бога, который бы рассказывал нашу историю и, таким образом, гарантировал нам любовь.

19. Романтический фатализм был, несомненно, мифом и иллюзией, но это не могло послужить поводом отказаться от него, как от глупости. Мифы иногда приобретают значение, выходящее за рамки их непосредственного содержания. Не нужно верить в греческих богов, чтобы знать — мифы рассказывают нам о человеческой душе что-то жизненно важное. Было бы абсурдно всерьез полагать, что наша с Хлоей встреча была предназначена нам судьбой, но, с другой стороны, *нам* вполне простительно было думать, что так распорядилась именно судьба. Нашей наивной верой мы только хотели оградить себя от мысли, что с равным успехом могли начать любить кого-то еще, если бы компьютер в аэропорту распорядился иначе, — мысль, допустить которую было невозможно, если в любви так много значит представление о единственности любимого. Как мог бы я согласиться с тем, что роль, которую Хлоя явилась сыграть в моей жизни, могла быть с равным успехом сыграна кем-то еще, ведь именно ее глаза вызвали во мне любовь; то, как она зажигала сигарету, как целовалась, как отвечала по телефону и расчесывала волосы?

20. Романтический фатализм позволяет нам уйти от невыносимой мысли о том, что потребность любить всегда предшествует нашей любви к кому-то конкретному. Наш выбор партнера всегда происходит в кругу тех, кого нам выпало встретить, и если предположить, что этот круг иной, иные рейсы, иная историческая эпоха или обстоятельства, тогда той, кого бы я полюбил, вообще могла не быть Хлоя — вывод, который я был не в состоянии сделать теперь, когда уже начал любить именно ее. Моя изначальная ошибка состояла в том, что я принял неизбежность любви за неизбежность полюбить данного человека. Заблуждением было думать, что именно Хлоя, а не любовь вообще предназначалась мне

судьбой.

21. Моя фаталистическая интерпретация начала нашего романа, впрочем, служила доказательством по меньшей мере одной вещи: что я полюбил Хлою. Тот момент, когда бы я ощутил, что наша встреча или не встреча была в конечном счете чистой случайностью, всего только одним шансом из 5840,82, должен был стать моментом, когда я перестал бы чувствовать абсолютную потребность в жизни с ней, а значит, перестал бы любить ее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИДЕАЛИЗАЦИЯ

1. «Видеть людей насквозь так легко, и это ни к чему вас не ведет», — заметил как-то Элиас Канетти^[3], рассуждая о том, как мы умеем без труда и одновременно без всякой пользы находить недостатки в других. Не потому ли, хотя бы отчасти, мы влюбляемся, чтобы хоть на мгновение перестать видеть людей насквозь, пусть ценой временного самоослепления? Если цинизм и любовь находятся в противоположных частях спектра, не влюбляемся ли мы иногда с тем, чтобы уйти от обессиливающего цинизма, к которому мы склонны? Не содержится ли в каждом *coup de foudre*^[4] своего рода намеренного преувеличения достоинств предмета, — преувеличения, отвлекающего нас от разочарования, поскольку все наши силы сосредоточены на данном лице, в которое мы на краткий и чудесный миг готовы поверить?

2. Я потерял Хлою в толпе на паспортном контроле, но снова нашел ее в зале выдачи багажа. Она изо всех сил толкала тележку, плохо слушавшуюся ее и упрямо сворачивавшую направо, в то время как карусель с чемоданами находилась слева, в самой дальней части помещения. Поскольку у моей тележки не было собственного мнения о том, в каком направлении двигаться, я догнал Хлою и предложил ей свою. Она отказалась, сказав, что нужно быть снисходительным к тележкам, пусть даже упрямым, и что интенсивные физические упражнения не самая плохая вещь после полета. Круглым путем (через толпу прилетевших из Карачи) мы дотолкали ее тележку до карусели, обслуживавшей рейс из Парижа, где уже собрались люди, лица которых сделались уже невольными знакомыми по посадке в Шарль де Голль. Первые сумки и чемоданы начали вываливаться на резиновое покрытие, состоящее из отдельных звеньев, а лица принялись озабоченно вглядываться в движущуюся панораму, стараясь определить местонахождение своих вещей.

3. — Вас когда-нибудь задерживали таможенники? — спросила Хлоя.

— Пока нет, а вас?

— Нет, но однажды я донесла на себя сама. Этот фашист спросил, есть ли мне о чем заявить, и я сказала «да», хотя у меня не было с собой ничего запрещенного.

— Почему же вы сказали «да»?

— Не знаю. Почувствовала себя виноватой: у меня есть эта ужасная склонность сознаваться в том, чего я не делала. Всю жизнь меня преследовали кошмары, что я отдаю себя в руки полиции, признавшись в совершении преступления, которого не совершала.

4. — Кстати сказать, не судите обо мне по моей сумке, — сказала Хлоя, пока мы продолжали стоять и смотреть, в то время как другим везло. — Я купила ее в последний момент в этом ужасном магазине на Рю де ла Ренн. Чудовищная вещь.

— Подождите, вот увидите мою. Разница в том, что мне нечего сказать в оправдание. Я вожу эту сумку с собой уже больше пяти лет.

— Можно попросить вас об одолжении? Посмотрите за моей тележкой, пока я сбегаю в туалет, хорошо? Я только туда и обратно. И еще, если увидите розовую сумку на колесах со светящейся зеленой ручкой, это моя.

5. Через некоторое время я наблюдал за тем, как Хлоя идет через зал обратно ко мне с выражением, которое, как я потом узнал, было обычным для нее — лицо обиженное и слегка озабоченное. У нее было одно из тех лиц, которые, как кажется, всегда готовы вот-вот заплакать, а в глазах — страх, как у человека, которому сейчас должны сообщить очень плохую новость. Что-то в ней вызывало желание ободрить, придать ей уверенности (наконец, просто предложить взять за руку).

— Уже появился? — спросила она.

— Нет, ни вашего, ни моего, но кругом еще много народа. По крайней мере, в течение ближайших пяти минут нет никакого повода для паранойи.

— Какой удар, — улыбнулась Хлоя и стала смотреть себе под ноги.

6. Любовь была чем-то, что я ощутил внезапно, вскоре после того, как Хлоя пустилась в обещавший быть очень долгим и скучным рассказ о каникулах, проведенных однажды с братом на Родосе (рассказ возник случайно, под влиянием рейса из Афин, чей багаж крутился на соседней карусели). Пока Хлоя говорила, я смотрел, как ее руки теребят пояс бежевого шерстяного пальто (несколько веснушек сгруппировались чуть пониже указательного пальца), и вдруг осознал (как если бы это была сама истина во всей своей очевидности), что люблю ее. Я невольно пришел к заключению, что, несмотря на неловкую привычку не договаривать предложения до конца, несмотря на то что она все время выглядела несколько обеспокоенной и ее сережки были подобраны, возможно, не с лучшим вкусом, *она была очаровательна*. В тот момент я полностью идеализировал ее, и это в равной мере было результатом моей непростительной эмоциональной незрелости, изящного покроя ее пальто, съеденного на завтрак гамбургера, а также гнетущего впечатления, производимого залом выдачи багажа при четвертом терминале, на фоне которого так эффектно выделялась ее красота.

7. «Весь остров битком набит туристами, но мы взяли напрокат мотоциклы, а потом...» — история, которую рассказывала Хлоя, была скучной, но для меня эта скука уже не служила основанием для выводов. Я перестал судить ее рассказ по законам обыденной логики, как другие повседневные разговоры. Мне уже не нужно было искать ни отражения высокого ума в синтаксических конструкциях, ни правды в описаниях, — не то было важным, *что* она произносила, а то, что это говорила *она*, — я, таким образом, заранее наделил совершенством решительно все, что ей бы пришлось в голову сказать. Я ощущал готовность последовать за ней куда угодно («Это был тот магазин, где продавали свежие оливки...»), я был готов любить каждую ее неудавшуюся шутку, каждое рассуждение, посреди которого она сбивалась и теряла нить. Я чувствовал себя готовым отказаться от своего «я» ради тотального сопереживания, чтобы последовать за Хлоей в каждое из ее возможных самовыражений, сохранить в памяти каждое из ее воспоминаний, превратиться в историка ее детства, изучить все ее любви, ненависти и страхи, — все, что могло когда-либо происходить с ее душой и телом, вдруг исполнилось невыразимого очарования.

8. Потом прибыл багаж, ее — только на несколько чемоданов позже моего, мы погрузили его на тележки и проследовали по зеленому коридору.

9. Пугают масштабы, до которых нам свойственно идеализировать другого человека, в

то время как мы с таким трудом выносим даже самих себя — именно *потому*, что мы с таким трудом... Я должен был понимать, что Хлоя всего-навсего человек (включая сюда все, что обычно подразумевают под этим словом), но неужели мне невозможно простить — при том стрессе, который сопровождает путешествие и саму жизнь, — мое желание подавить эту мысль? Каждая наша влюбленность подразумевает (переиначивая Оскара Уайльда) «триумф надежды над знанием самого себя». Мы влюбляемся с надеждой не обнаружить в другом человеке того, что, как мы знаем, есть в нас самих — малодушия, слабости, лени, непорядочности, склонности к компромиссам и откровенной глупости. Мы берем своего избранника под охрану любви и решаем, что все находящееся внутри этого кольца заведомо свободно от наших недостатков и потому достойно обожания. Мы помещаем внутрь другого совершенство, которое отчаялись найти в себе, и надеемся, что, заключив союз с любимым, сможем каким-то образом поддерживать (вопреки всему, что знаем о собственной природе) шаткую веру в человека вообще.

10. Почему же знание всех этих вещей не помешало мне влюбиться? Потому, что нелогичность и детскость моего желания не перевесила мою потребность в вере. Мне знакома была пустота, которую могла заполнить романтическая иллюзия; мне знакома была радость, которая сопровождает признание кого-то, все равно кого, очаровательным. Задолго до того, как я еще только увидел Хлою впервые, я, без сомнения, уже чувствовал потребность открыть в лице другого человека совершенство, которое мне никогда не удавалось обнаружить внутри себя самого.

11. — Могу я проверить ваши сумки? — спросил таможенник. — Везете ли вы что-нибудь, о чем вы хотели бы заявить? Алкоголь, сигареты, огнестрельное оружие?..

Как гений и Уайльд, я хотел сказать: «Только мою любовь», но моя любовь не была преступлением, по крайней мере пока.

— Я подожду вместе с вами? — спросила Хлоя.

— Вы вместе с мадам? — осведомился служащий таможни.

Испугавшись одного предположения, я ответил отрицательно, а Хлою все же попросил подождать меня на той стороне.

12. Любовь множит наши потребности с только ей свойственной скоростью и изобретательностью. То, как нетерпеливо я ждал, пока закончится обычная процедура таможенного досмотра, красноречиво свидетельствовало: Хлоя, о существовании которой я понятия не имел еще несколько часов назад, уже заняла место объекта страстного желания. Это не было похоже на голод, при котором признаки нарастают постепенно, а потребность имеет легко распознаваемый ритм, обостряясь через определенные промежутки времени — утром, в обед и вечером, когда обычно едят. Я чувствовал, что, случись мне потерять ее на другой стороне зала, я бы умер, — умер ради человека, который вошел в мою жизнь лишь в половине двенадцатого утра того же дня.

13. Если падение в любовь так стремительно, то это, возможно, потому, что желание любить предшествовало предмету — потребность сама нашла свое решение. Появление предмета только вторая стадия развития первоначальной (но в значительной степени бессознательной) потребности любить *кого-нибудь* — наш любовный голод позволил

придать его или ее чертам определенную форму, наше желание сосредоточилось вокруг него или вокруг нее. (Надо сказать, что честная часть нашей души никогда не позволит совершиться обману. Всегда будут минуты, когда нас посетит сомнение, таков ли наш предмет в действительности, каким мы рисуем его в своем воображении, и не являются ли наши он или она выдумкой, вызванной к жизни желанием предотвратить неизбежную гибель от отсутствия любви.)

14. Хлоя подождала меня, но мы лишь короткое мгновение побыли вместе, а потом снова разошлись. Она оставляла машину на стоянке, мне же предстояло ловить такси, чтобы забрать с работы кое-какие бумаги, — один из тех моментов всеобщей неловкости, когда обе стороны в нерешительности, будет ли их история иметь продолжение.

— Я как-нибудь позвоню тебе, — небрежно сказал я, — мы могли бы вместе пойти поискать себе дорожные сумки.

— Хорошая мысль, — ответила Хлоя. — У тебя есть мой номер телефона?

— Боюсь, я уже выучил его, он был написан на твоём багаже.

— Из тебя неплохой сыщик, — надеюсь, память у тебя тоже ничего. Ладно, было приятно познакомиться, — сказала Хлоя, протягивая руку.

— Удачи с кактусами! — крикнул я ей вслед, следя взглядом, как она шла к лифтам, а тележка по-прежнему все время упрямо сворачивала направо.

15. В такси, по дороге в город, меня не оставляла грусть и странное ощущение потери. Могла ли это действительно быть любовь? Говорить о любви после того, как мы лишь провели вместе утро, означало навлечь на себя обвинение в романтических иллюзиях и в том, что я бросаюсь словами. А ведь мы только тогда и можем влюбиться, когда не знаем, кто этот человек, разделивший с нами чувство. *Движение в самом начале обязательно основывается на незнании.* Если я называл это любовью, отмечая столько сомнений как психологического, так и эпистемологического [\[5\]](#) свойства, возможно, я поступал так потому, что полагал: это слово вообще невозможно употребить *корректно*. Поскольку любовь не являлась ни местом, ни цветом, ни химическим препаратом, но всем этим сразу и много чем еще или ничем из этого и еще того меньше, разве нельзя, чтобы каждый говорил и решал, как он хочет, если речь зашла о подобных вещах? Неужели этот вопрос не находится вне академического царства истинного и ложного? Любовь или просто навязчивая идея? Но кто, если не время (перевирающее самое себя), мог бы прояснить здесь хоть что-нибудь?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СБЛИЖЕНИЕ В ПОДТЕКСТЕ

1. Тем, кто любит по-настоящему, невозможно заблудиться в стране сближения. Каждая улыбка, каждое слово открывают им путь к десятку, если не к десяти тысячам возможностей. Жесты и замечания, которые в обычной жизни (то есть *в жизни без любви*) значат только то, что значат, теперь заставляют листать словари в поисках самых невероятных толкований. А сомнения, по крайней мере для стремящегося к сближению, сводятся к одному животрепещущему вопросу, волнующей и полной преступного ожидания фразе: «Он (она) хочет меня или нет?»

2. Мысль о Хлое, будучи не в состоянии овладеть мною целиком, все же не оставляла меня в последующие дни. Я не мог отвечать за это желание, единственным удовлетворительным объяснением которому был бы молчаливый кивок в сторону самого предмета (вспоминаются причины, которые привел Монтень в ответ на вопрос о его дружбе с Ля Бозти: потому, что она — это она, а я — это я). Хотя нужно было срочно заканчивать проект офиса у Кингс-Кросс, мои мысли необъяснимым образом все время направлялись к Хлое. Существовала потребность все время вращаться вокруг объекта поклонения, она врывается в сознание с неотложностью вопроса, который было необходимо задать, хотя эти мысли ни к чему не вели, а говоря объективно, были абсолютно неинтересны: в них отсутствовал сюжет и развитие, они были чистое желание. Некоторые из этих «мыслей о Хлое» сводились к *«Ах, какая она чудесная, как хорошо было бы...»*.

Другие представляли собой застывшие картинки:

- [I] Хлоя на фоне иллюминатора.
- [II] Ее зеленоватые глаза.
- [III] Ее зубы покусывают нижнюю губу.
- [IV] Ее интонация, когда она говорит: *«Это странно»*.
- [V] Наклон шеи, когда она зевает.
- [VI] Щель между двумя передними зубами.
- [VII] Ее рукопожатие.

3. Если бы только сознание проявило такое же прилежание в запоминании номера ее телефона! Злосчастный набор цифр все же стерся из памяти (памяти, которая охотнее тратила силы на то, чтобы снова и снова воссоздавать образ ее нижней губы). Это могло быть:

607-91-87
609-71-87
601-79-87
690-71-87
670-98-17
687-71-87...

4. Первый звонок не удовлетворил мое желание — сбой в коммуникации, беда всякого сближения. 609-71-87 также не было принятом возлюбленной — это был номер похоронного бюро на Аппер-стрит. Впрочем, заведение не раскрывало себя до самого конца нашего путаного разговора, по ходу которого я узнал, что среди служащих «*После жизни*» тоже была некая Хлоя, которую и подозвали к аппарату. Она провела несколько бурных минут, тщетно пытаясь вспомнить, кто я такой (наверно, ища меня среди клиентов, интересовавшихся урнами), пока ошибка с обеих сторон не стала очевидной и я не повесил трубку, весь красный, взмокший от пота, в состоянии ближе к смерти, чем к жизни.

5. Когда на следующий день я наконец нашел свою Хлою на ее рабочем месте, она, похоже, тоже отнесла меня к области «после жизни» (хотя что же было относить, кроме моего перезрелого воображения?).

— Здесь сейчас сумасшедший дом. Ты можешь не вешать трубку? — спросила она тоном секретарши.

Обиженный, я подождал у телефона. Что за близость я себе воображал, сидя в своем офисе, — мы были посторонние люди, а мое желание было совершенно неуместным, непрошеным вторжением в рабочий день Хлои.

— Слушай, извини, — сказала она, снова беря трубку. — Я правда не могу сейчас говорить. Мы готовим приложение, которое завтра идет в печать. Можно, я перезвоню тебе? Я попробую застать тебя или на работе, или дома, когда станет немного потише, хорошо?

6. В руках возлюбленной, которая не звонит, телефон становится орудием пытки. Судьба романа находится во власти звонящего: тот, кто ждет звонка, теряет контроль над развитием сюжета, ему остается лишь следовать, отвечать, когда звонят. Телефон определил для меня роль пассивного ожидания; в обычной сексуальной интерпретации обмена телефонными звонками я оказался в положении принимающей стороны — дамы, ждущей мужского звонка Хлоп. В результате я должен был находиться в постоянной готовности принять этот звонок, ожидание наложило на мои передвижения печать подавляющей телеологии^[6]. Ничто в телефоне — ни обтекаемая форма, ни удобные кнопки, ни приятный дизайн — не выдавало жестокости, скрытой в дьявольском механизме. По нему невозможно было угадать, когда он (а следовательно, и я) будет возвращен к жизни.

7. Я бы предпочел получить письмо. Когда она позвонила неделю спустя, я к тому моменту уже слишком много раз отрепетировал свою речь, слишком много раз, чтобы произнести ее. Меня застали врасплох, в то время как я расхаживал голый по ванной, прочищая уши ватным тампоном и глядя, как наполняется ванна. Я побежал к телефону в спальне. Голос может быть только черновиком, если, конечно, его не затвердить наизусть и не воспроизвести потом. Мой голос звучал напряженно, в нем было волнение и раздражение, которые я мог бы легко удалить со страниц письма. Но телефон не компьютер, он дает говорящему только один-единственный шанс.

— Рад тебя слышать, — произнес я идиотскую фразу. — Давай позавтракаем, или поужинаем, или что ты захочешь.

Голос слегка изменил мне на втором *или*.

Насколько неуязвимым выглядело бы написанное слово по сравнению с речью. Автор мог бы показать себя неприступным, твердым, имеющим власть над морфологией и

синтаксисом. Те, кто не умеет убедительно говорить, обращаются к авторучке. Вместо *автора* тогда предстал лишь этот запинаящийся, болтливый, жалкий, с ломающимся голосом *говорящий*.

8. — Слушай, с завтраком на этой неделе ничего не получится.

— А как насчет ужина?

— Ужина? Подожди, м-м-м... Знаешь (пауза), я тут сейчас смотрю свое расписание — ужин тоже выглядит проблематичным.

— По сравнению с твоим график премьер-министра выглядит бледно.

— Извини, но дел действительно куча. Хотя вот что. А ты не можешь сегодня освободить вторую половину дня? Мы могли бы встретиться у меня на работе и сходить в Национальную галерею или что-нибудь еще, например, погулять в парке.

9. Все время, пока я сближался с Хлоей, меня преследовали вопросы, относящиеся к невыразимому подтексту каждого слова и действия. Что думала Хлоя по дороге от ее конторы на Бедфорд-стрит к Трафальгарской площади? Свидетельства, по которым можно было бы об этом судить, мучили своей противоречивостью. С одной стороны, она была рада пройтись по музею в компании человека, с которым всего неделю назад познакомилась в самолете. Но с другой стороны, ничто в ее поведении не давало повод думать об этом иначе как о простой возможности провести время в умных разговорах об искусстве и живописи. Возможно, следовало все отнести за счет своего рода дружбы — материнского, несексуального отношения, которое женщины иногда проявляют к мужчинам. Каждый жест Хлои я мучительно пытался приписать невинности или соучастию, и от этого все они приобрели в моих глазах значительность, сводившую меня с ума. Понимала ли она, что я хотел ее? Хотела ли она меня? Прав ли я был, ища и находя в углах ее губ и окончаниях фраз скрытое кокетство, или это мое желание отражалось в лице самой невинности?

10. Музей в это время года наводняют толпы, поэтому потребовалось время, прежде чем мы смогли сдать в гардероб пальто и подняться по лестнице. Мы начали осмотр с ранних итальянцев, но мои мысли (я потерял способность видеть перспективу, а им еще предстояло найти свою) были далеко от них. Перед «Мадонной и Младенцем со святыми» Хлоя, повернувшись ко мне, сказала, что ей всегда нравился Синьорелли^[7], а я нашел нужным изобразить, что без ума от «Распятого Христа» Антонелло^[8]. Она выглядела задумчивой, погруженной в созерцание картин, и, казалось, не замечала ни шума, ни движения вокруг. Я шел на несколько шагов позади нее, пытаясь сосредоточиться на живописи, но не в состоянии проникнуть в третье измерение. Я мог смотреть на них исключительно в связи с тем, как их разглядывала Хлоя, — искусство через призму жизни.

11. Был момент, когда во втором зале с итальянцами (XVI век), где толпилось особенно много народа, мы оказались так близко друг к другу, что моя рука коснулась ее руки. Она не отодвинулась, я тоже, так что какое-то время я стоял и чувствовал, как ее кожа прикасается к моему телу. Я таял от ощущения тайного блаженства, испытывая запретный восторг вуайериста, поскольку разрешения мне никто не давал — ее взгляд был обращен в другую сторону, хотя, возможно, и не в полном неведении относительно происходящего. Картина на стене напротив была «Аллегория с Венерой и Купидоном» Бронзино^[9]: Купидон целует

свою мать, а она потихоньку вынимает из его колчана одну из стрел — красота, ослепляющая любовь, иносказательно лишаящая мальчика его власти.

12. Потом Хлоя убрала руку, обернулась ко мне и сказала:

— Мне нравятся вон те маленькие фигурки на заднем плане, нимфочки, сердитые божки и все остальное. Ты понимаешь смысл всего этого?

— Честно говоря, ничего, кроме того, что это Венера и Купидон.

— Я не поняла даже этого, так что ты разбираешься лучше меня. Мне всегда хотелось больше читать о древних мифах, — продолжала она. — Все время обещаю себе читать больше, но до дела так и не доходит. Наверное, мне нравится просто смотреть на вещи, а не понимать, что они означают.

Она снова стала смотреть на картину, а ее рука опять слегка коснулась моей.

13. Ее действия могли означать практически все что угодно, от желания до невинности, оставляя полный простор для толкований. Была ли это часть сложной игры (тоньше, чем символизм Бронзино, и еще труднее уловимой), которая в один прекрасный день позволит мне (как Купидону на картине) потянуться и поцеловать ее, или невинное, бессознательное сокращение уставших мышц?

14. Стоит начать искать признаки взаимности, как тут же все, что говорит или делает предмет, становится возможным рассматривать практически в любом значении. И чем больше я искал, тем больше их находилось. В каждом движении тела Хлои виделось потенциальное свидетельство желания — в том, как она одернула юбку (мы в этот момент переходили в зал с картинами ранних немецких и голландских мастеров), или кашлянула, стоя перед *«Портретом четы Арнольфини»* Ван Эйка^[10], или отдала мне каталог, чтобы подпереть рукой щеку. Когда же я прислушивался к ее словам, они тоже вдруг оказывались минным полем, где повсюду рассеяны намеки и ключи — разве я ошибался, увидев откровенное заигрывание в сообщении, что она устала, или в предложении поискать свободную скамейку?

15. Мы сели, и Хлоя вытянула ноги. Черные носки, сужаясь, изящно переходили в пару легких кожаных туфель. Невозможно было наложить ее жесты на нейтральный семантический^[11] фон — если бы какая-нибудь женщина в метро стояла близко и ее нога так же касалась бы моей, я не обратил бы на это ни малейшего внимания — объективная сложность заключалась в истолковании жеста, значение которого, само по себе вполне безобидное, приобретало специальный смысл благодаря контексту, благодаря самому толкователю (а каким пристрастным толкователем я был!). Напротив нас висел Кранахов^[12] *«Купидон, жалующийся Венере»*. Эта северная Венера загадочно глядела на нас сверху вниз, забыв о бедном Купидоне, посланце любви. Его пальчики горели от укусов пчел, у которых он пытался украсть мед. Знаки.

16. Желание сделало из меня детектива, неутомимого охотника за символами, мимо которых я спокойно прошел бы, если бы не был до такой степени озабочен. Желание превратило меня в романтического параноика, во всем видевшего скрытый смысл. Под влиянием желания я переродился в устройство для расшифровки символов, толкователя

ландшафта (а потому — в потенциальную жертву восторженного самообмана). И все же, каким бы ни было мое нетерпение, эти вещи не были лишены той властной притягательности, которая свойственна всему загадочному. Возможность двоякого понимания сулила то гибель, то спасение, но для установления истины требовала целой жизни. И чем дольше я надеялся, тем больше человек, бывший предметом надежд, казался мне возвышенным, таинственным, совершенным, достойным моих чаяний. Сама отсрочка увеличивала желанность, возбуждала, чего никогда не могло быть в случае немедленного удовлетворения. Если бы Хлоя сразу же выложила свои карты, игра потеряла бы всю привлекательность. Как бы я ни обижался на это, я признавал, что словами ничего не должно было быть сказано. Самые притягательные не те, которые почти сразу же позволяют нам целовать их (скоро мы делаемся неблагодарными), и не те, которые никогда не позволяют нам целовать их (мы скоро забываем о них), а те, что застенчиво проводят нас между двумя крайностями.

17. Венере захотелось пить, и они с Купидоном направились к лестнице. В буфете Хлоя взяла поднос и начала подталкивать его вперед вдоль стального ограждения.

— Будешь чай? — спросила она.

— Да, я возьму себе.

— Не глупи, я возьму тебе.

— Позволь, пожалуйста, мне самому.

— Слушай, спасибо, но восемьдесят пенсов меня не разорят.

Мы сели за столик с видом на Трафальгарскую площадь, огни рождественской елки придавали городскому пейзажу радостно-праздничный вид. Мы начали разговор об искусстве, от него перешли к художникам, от художников — ко второй чашке чая с морковным пирогом, потом заговорили о красоте, а от красоты добрались до любви, на чем и остановились.

— Я не понимаю, — сказала Хлоя, — ты веришь или не веришь в то, что на свете существует такая вещь, как прочная, настоящая любовь?

— Я только хочу сказать, что все это очень субъективно, что глупо говорить о «настоящей любви» как о философски верифицируемом понятии. Трудно различить страсть и любовь, влюбленность и любовь и так далее, потому что все зависит от точки зрения.

— Ты прав. (*Пауза.*) Тебе не кажется, что этот морковный пирог — редкая гадость? Нам не нужно было покупать его.

— Это была твоя идея.

— Да. Но (*Хлоя провела рукой по волосам.*), возвращаясь к тому, о чем ты меня спрашивал, ты можешь серьезно сказать, романтика — анахронизм или нет? Я думаю, если бы можно было прямо спросить, большинство людей, конечно, согласились бы с тем, что в наше время уже нет и не может быть никакой романтики. Но они не обязательно сказали бы правду. Это лишь способ защитить себя от того, чего они действительно хотят. Изначально они верят в это, а потом изображают, что не верят, пока жизнь не заставит или не даст возможность поверить. Мне кажется, многие люди охотно отказались бы от своего цинизма, если бы только могли, но большинству так никогда и не предоставляется случай.

18. Ничто из того, что говорила Хлоя, не воспринималось мною буквально. Я, напротив, прислушивался к подтексту в уверенности, что смысл следует искать именно здесь, а не там,

где он обычно находится, — толкование заменяло мне слушание. Мы говорили о любви, моя Венера рассеянно помешивала свой, теперь уже остывший чай, но что этот разговор значил для нас? О каком «большинстве» шла речь? Был ли я тем мужчиной, который призван уничтожить ее цинизм? Что этот разговор о любви мог сказать об отношениях между его участниками? Снова ни одного ключика. Тон разговора предусмотрительно отстраненный. Мы говорили о любви вообще, старательно обходя то, что предметом обсуждения, лежавшим перед нами на столе, была не природа любви *per se*^[13], а жгучий вопрос, кем были мы (и кем могли бы стать) друг для друга.

Или думать так выглядело смешным? Или между нами на столе не было ничего, кроме недоеденных кусков пирога и двух чашек чая? Была ли на самом деле в Хлое та отстраненность, которую она старалась показать, и действительно ли она думала то, что говорила, — в прямом противоречии с главной заповедью кокетства, *никогда не говорить того, что думаешь?*

19. Насколько сложно было сохранять ровный тон, когда Купидон был так пристрастен, когда так очевидно было, о чем он беспокоится, желая, чтобы это было правдой? Приписывал ли он Хлое чувство, которое на самом деле испытывал один? И можно ли вменить ему в вину старое как мир заблуждение, когда мысль: «Я хочу тебя» ошибочно приравнивается к другой, отвечающей ей мысли: «Ты хочешь меня?»

20. Для прояснения своих позиций мы призвали на помощь третьих лиц. У Хлои на работе была подруга, которая постоянно влюблялась в неподходящих парней. Теперь в роли очередного мучителя выступал курьер.

Не понимаю, зачем тратить даже минуту своего времени на человека, который примерно в три тысячи раз глупее нее, у которого даже не хватает порядочности хорошо обращаться с ней и которому в принципе она нужна — я ей говорила — исключительно для секса. Это бы ладно, если бы и ей он был нужен для секса, но нет! И в результате она получает худшее в обоих смыслах этого слова.

Звучит ужасно.

Да, действительно печально. Человек должен вступать в отношения, в которых оба равны, когда один готов дать другому столько же, сколько получить, а не так, что одна сторона хочет весело провести время, а другая ищет настоящей любви. Мне кажется, все мучения происходят от того, что люди не до конца уверены в себе, в том, что им нужно от жизни, или еще в чем-то, — в результате нарушается равновесие.

21. Мы на ощупь подыскивали себе ориентиры и сговаривались о дефинициях. Мы шли окольными путями, спрашивая друг друга, «что человек ждет от любви». В этом «человек» средствами языка выражалось обоюдное желание оставаться в стороне, отказ от личной заинтересованности. Хотя такой ритуал можно было бы назвать игрой, он был одновременно очень серьезен и очень полезен. В сомнениях и нерешительности («да» или «нет»?) была определенная логика. Даже если бы Хлоя в какой-то момент решила в пользу «да», ритуальное движение от А к В через Z имело бы преимущества перед прямым сообщением. Оно сводило к минимуму риск обидеть партнера, если он не хочет, а если хочет, более осторожно наводило его на мысль о взаимности. Грозный смысл всеобъемлющего «Ты мне нравишься» смягчался добавлением: «Но не настолько, чтобы я тебе прямо так и сказал...»

22. Мы были вовлечены в игру, которая позволяла нам как можно дольше отрицать, что мы вообще в ней участвуем, — в игру, главное правило которой состояло в том, чтобы со стороны не было заметно, что это игра, — как будто обе стороны и не догадываются о ее существовании. Мы говорили на языке, используя обычные слова, но придавая им новые значения, разрабатывая связь между скрытым и обычным смыслом:

Шифр: «Люди не должны так цинично относиться к любви» = Сообщение: «Ради меня откажись от своего цинизма».

Это напоминало шифровки времен войны — мы оба могли разговаривать сколько угодно и не бояться, что желание кого-то из нас будет уязвлено, не встретив взаимности. Если гестаповцы врываются в комнату, агенты союзников всегда могли сослаться на то, что передавали по радиации всего лишь отрывки из Шекспира, а не документы особой важности (я *хочу тебя*), поскольку ничто из того, о чем *говорили* мы с Хлоей, напрямую не затрагивало никого из нас. Если знаки сближения были настолько эфемерны, что их можно было с легкостью отрицать (прикосновение руки или взгляд, длившийся на секунду дольше), кто скажет, что в нашем разговоре мы имели в виду именно сближение?

23. Не было лучшего способа уменьшить огромный риск, когда губы двоих предпринимают долгий и опасный путь навстречу друг другу, — риск, который в конечном счете сводился к главной опасности — *признаться в своем желании и убедиться, что оно отвергнуто*.

24. Поскольку было уже больше половины шестого и ее контора должна была закрываться, я спросил Хлою, не свободна ли она наконец и не поужинает ли она со мной сегодня вечером. В ответ Хлоя улыбнулась, проводила взглядом автобус, проезжавший мимо церкви Сент-Мартен, потом посмотрела на меня и уже затем, внимательно разглядывая пепельницу, произнесла: «*Спасибо, но это, пожалуй, не получится*». Я был близок к отчаянию, и она смутилась.

25. Робость — прекрасный ответ на многие основополагающие сомнения, которые возникают при сближении. Поэтому к ней и обращаются так часто в случае явной нехватки признаков, свидетельствующих о желании другой стороны. Когда от предмета поступают сигналы, которые можно толковать по-разному, что может быть лучше, чем списать этот недостаток чувства за счет робости как черты характера: *он (она) хочет, но робость мешает ему (ей) сказать это*. Такое объяснение позволяет обмануть все доводы галлюцинирующего ума, поскольку разве сложно обнаружить в чьем-то поведении признаки робости? Чтобы доказать ее присутствие, достаточно смущения, молчаливости или нервного смеха, а потому, если тот, кто стремится к сближению, назовет свою жертву робкой, он никогда не испытает разочарования. Это надежный способ выдать отсутствие знака за присутствие, превратить негатив в позитив. Отсюда даже может возникнуть мысль, что робкий человек хочет сильнее, чем доверчивый, поскольку о силе желания робкого человека свидетельствует само обстоятельство, что ему трудно его выразить.

26. — Господи, это ужасно, — сказала Хлоя, предлагая другое возможное объяснение

своему смущению. — Мне поручили сегодня днем позвонить в типографию. Черт, не понимаю, как я могла забыть. Я совсем перестаю соображать.

Ромео изобразил сочувствие.

— Слушай, насчет ужина. Мы обязательно поужинаем с тобой в другой раз. Я с удовольствием, правда. Сейчас это проблематично, но я еще раз посмотрю свое расписание и завтра позвоню тебе, честное слово. Может быть, получится еще до выходных.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

АУТЕНТИЧНОСТЬ ^[14]

1. Одно из проявлений иронии любви состоит в том, что нам легче легкого уверенно сближаться с теми, кто нам меньше всего нравится, тогда как серьезное желание лишает нас необходимой доли непосредственности, а привлекательность предмета рождает чувство неполноценности по сравнению с тем совершенством, которым мы сами наделяем объект своей любви. Мое чувство к Хлое привело к тому, что я полностью потерял веру в собственную ценность. Кто я был такой рядом с ней? Разве не величайшей чести удостоила она меня, согласившись на этот ужин, одевшись с таким изяществом (*«Я нормально выгляжу? — спросила она в машине. — Можно было бы лучше, но я не люблю переодеваться по шестому разу!»*), уже не говоря о том, что она была готова отвечать на замечания, которые могли сорваться с моих недостойных губ (если бы я вновь обрел способность ворочать языком)?

2. Это было в пятницу вечером, мы с Хлоей сидели за угловым столиком в «Les Liaisons Dangereuses»^[15], французском ресторанчике, который недавно открылся в конце Фулхэм-роуд. Трудно было бы найти для красоты Хлои более подходящее обрамление. Мягкие тени от канделябров ложились на ее лицо, светло-зеленые стены шли к ее светло-зеленым глазам. И тут я, как если бы этот ангел напротив лишил меня дара речи, внезапно обнаружил (буквально через пару минут после оживленного разговора), что не в состоянии ни думать, ни говорить, и только молча рисовал на белой накрахмаленной скатерти невидимые узоры, бессмысленно потягивая пузырящуюся воду из большого стеклянного бокала.

3. Из сознания неполноценности выросла необходимость на время превратиться в того, кем я на самом деле не был, привлекательную личность, которая отвечала бы запросам высшего существа и подходила ему. Не означало ли это, что любовь осудила меня не быть собой? Возможно, не навсегда, но если говорить серьезно, то на теперешнем этапе сближения — да, поскольку мое положение желающего приблизиться к Хлое толкало меня на то, чтобы я в первую очередь задавался вопросом: «Что понравилось бы ей?», и уже потом — «Что нравится мне?». Я спрашивал себя: «Как бы она оценила мой галстук?», а не «Как я нахожу его?». Любовь заставляла меня смотреть на самого себя как бы ее глазами. Не «Кто я?», а «Кто я для нее?». И в этом смещении в постановке вопроса мою личность все больше тяготили своего рода муки совести и ощущение собственной неаутентичности.

4. Эта неаутентичность не обязательно проявляла себя в явном вранье или преувеличениях. Она лишь заставляла меня каждый раз заранее пытаться угадать, что понравилось бы Хлое, чтобы в соответствии с желанием той стороны придать своим словам требуемый смысл.

— Будешь пить вино? — спросил я ее.

— Не знаю, ты хочешь вина? — отвечала она вопросом на вопрос.

— Я, в общем, не против, конечно, если ты хочешь, — был мой ответ.

— На твое усмотрение, если это доставит тебе удовольствие, — продолжала она.

- Мне все равно.
- Согласна.
- Так как, заказываем вино или нет?
- Слушай, мне кажется, *я не буду* пить вино, — решила Хлоя.
- Ты права, мне тоже что-то не хочется, — согласился я.
- Так давай не пить, — подытожила она.
- Отлично, сохраним верность воде.

5. Хотя первым условием аутентичности является способность сохранять верность себе в любом обществе, вечер прошел для меня в попытках приспособиться, придать себе определенные черты в соответствии с пожеланиями Хлои. Чего она ждала от мужчины? Какими были ее вкусы и пристрастия, сообразуясь с которыми я должен был строить свое поведение? Если главным критерием нравственной личности считается честность перед самим собой, то желание близости с Хлоей привело меня к тому, что я решительно не подходил под это определение. Почему я не сказал правду насчет тех чувств, которые вызывал у меня изысканный выбор вин прямо передо мной, мелом на черной доске как раз над головой Хлои? Потому что мое желание вдруг показалось мне неуместным и грубым рядом с ее пристрастием к минералке. Стремление сблизиться раскололо меня на две части — меня настоящего (за алкоголь) и меня поддельного (за воду).

6. Принесли первое блюдо, разложенное по тарелкам, в симметричности не уступавшее французскому парку.

— Оно слишком красиво, чтобы можно было к нему притронуться, — сказала Хлоя (как мне было знакомо это чувство!). — Такого жареного тунца я никогда раньше не ела.

Мы начали есть, и единственным звуком, который при этом раздавался, был звон ножей о фарфор. Казалось, нам не о чем говорить: Хлоя уже давно была моей единственной мыслью, но именно этой мыслью я в настоящий момент не мог поделиться. Молчание нависло, как приговор. Когда молчишь в компании человека, который тебе несимпатичен, возникает мысль, что он зануда. Когда же молчишь в компании того, кто тебе нравится, приходишь к уверенности, что невыносимый зануда здесь именно *ты*.

7. Мои молчание и неловкость, пожалуй, можно было бы простить, стоило увидеть в них достойные жалости доказательства желаний. Поскольку вовсе не так сложно добиваться близости с человеком, который тебе безразличен, самые неловкие соблазнительницы могут даже при известном великодушии сойти за самых искренних. То, что человек не находит подходящих слов, должно косвенно указывать на истинный смысл его подлинных слов (если бы они могли быть сказаны). Когда в тех, других, «Связях» маркиза де Мертей пишет виконту де Вальмону, она упрекает его в том, что его любовные письма слишком совершенны, слишком логичны для того, чтобы быть искренним выражением любви. Ведь мысли влюбленного лишены последовательности, и ему никогда не удастся построить изящную фразу. На любви язык спотыкается, желание не в ладах с артикуляцией (хотя с какой радостью я в ту минуту поменял бы этот свой ступор на красноречие виконта!).

8. Раз уж я хотел соблазнить Хлою, правильно было побольше узнать о ней. Иначе как можно отказаться от своего истинного «я», если не известно, на какое именно «псевдо-я»

его следует поменять? Это между тем вовсе не было легкой задачей, ведь чтобы понять другого, требуются часы неотступного наблюдения, когда анализ фактов приводит к тому, что тысячу слов и поступков удается в конце концов связать в единый характер. К сожалению, необходимые для этого терпение и понимание далеко превосходили возможности моего ослепленного любовью ума. Я вел себя как социальный психолог, любимый конек которого — упрощение, сведение личности к простым определениям, которому нет дела до многозначности человеческой натуры, интересующей писателя. Пока мы ели тунца, я неумело орудовал тяжеловесными вопросами, как будто мне поручили взять у нее интервью: «Что ты любишь читать?» («Джойса, Генри Джеймса, „Космополитен“, если есть время»), «Тебе нравится твоя работа?» («Все работы хороши тем, что приносят деньги, — ты не согласен?»), «В какой стране ты бы хотела жить, если бы можно было выбирать?» («Мне здесь хорошо; вообще, везде, где я могу воткнуть фен в розетку, не меняя для этого вилку»), «Что ты любишь делать в выходные?» («Ходить в кино по субботам, по воскресеньям наедаться шоколадом, а вечером впадать по этому поводу в депрессию»).

9. За этими дурацкими вопросами (с каждым следующим я, казалось, все больше удалялся от цели — узнать Хлою) стояла нетерпеливая попытка получить ответ на самый главный вопрос: «Кто ты?» (а следовательно, «Кем должен быть я?»). Но напрямую задать его означало, разумеется, обречь себя на неудачу, и чем более прямолинеен я был, тем легче объект ускользал из сетей. Пока я узнавал, какие она читает газеты и какую предпочитает музыку, мне не становилось ни на грамм яснее, кто она была, — излишнее напоминание о той поистине исключительной способности человеческого «я» ускользать от определения.

10. Хлоя избегала говорить о себе. Пожалуй, наиболее яркой чертой ее характера была своего рода скромность и самокритичность. Всякий раз, как по ходу разговора она была вынуждена затронуть эту тему, она выбирала самые резкие выражения. Ей недостаточно было просто сказать «я» или «Хлоя», она говорила «такая кошелка, как я» или «обладательница приза Офелии в конкурсе на самые здоровые нервы». Свойственная Хлое самокритичность была тем более привлекательна, что в ней отсутствовало завуалированное приглашение утверждать обратное, как у людей, которые исполнены сочувствия к себе и потому произносят: «Я такая глупая», ожидая услышать: «Ну что вы такое говорите!»

11. Ее детство не было безоблачным, но в этом вопросе она держалась стоических взглядов («Ненавижу, когда о детстве рассказывают такое, рядом с чем муки Иова — сущие пустяки»). Родилась она в обеспеченной семье. Ее отец («Все его проблемы начались, когда родители дали ему имя Барри») был ученым, профессором права, ее мать (Клер) какое-то время держала цветочный магазин. Хлоя была вторым ребенком в семье, девочка, как сыр в бутерброде, засунутая между двумя любимыми и непогрешимыми мальчиками. Когда ей было восемь лет, ее старший брат умер от лейкемии. Горе родителей проявилось в суровом отношении к дочери, которая, плохо успевавшая в школе и замкнутая дома, упорно держалась за жизнь вместо их обожаемого мальчика. Она выросла с непреходящим сознанием вины за то, что случилось, в то время как ее мать не делала почти ничего, чтобы облегчить эти чувства. Наоборот, ей доставляло удовольствие находить самые слабые стороны характера дочери и все время напоминать о них — так, Хлое не давали забыть о том, как плохо она учится в школе по сравнению с покойным братом, какая она неловкая,

какие ужасные у нее друзья (критика, которая имела не так уж много общего с правдой, но которая упрочивалась за счет того, как часто об этом вспоминали). В поисках любви Хлоя обратилась к отцу, но этот человек настолько же был скуп на чувства, насколько открыт в том, что касалось его профессии. Он охотно делился с нею знаниями в области права, видя в дочери преемницу до тех пор, пока Хлоя, еще подростком, не ощутила к нему ненависть, выросшую из отчуждения, и не бросила одновременно вызов всему, что было ему дорого («Какое счастье, что я не избрала своей специальностью право!»).

12. О ее бывших мужчинах за ужином упоминалось лишь вскользь: один работал в мастерской в Италии, ремонтировал мотоциклы, с Хлоей он обращался очень плохо; другой, к которому она относилась по-матерински, в конце концов попал в тюрьму за хранение наркотиков; еще один был философ-аналитик из Лондонского университета («Не надо быть Фрейдом, чтобы понять — он был для меня папочкой и я с ним ни разу не спала»); следующий испытывал для фирмы «Ровер» новые машины («До сих пор не могу объяснить себе, как это вышло. Наверное, мне понравился его бирмингемский акцент»). Не вырисовывалось никакой ясной картины, а потому в портрет ее идеального мужчины, формировавшийся в моей голове, приходилось все время вносить поправки. Говоря о каждом, она за что-то хвалила его и за что-то ругала, и это заставляло меня тут же бросаться лихорадочно переписывать «я», которому я уже собрался соответствовать. В какой-то момент она, казалось, отдавала предпочтение ранимости, а сразу за тем ругала ее, выставляя на первое место независимость. Если в эту минуту она превозносила честность как высшую добродетель, уже в следующую — ее слова звучали апологией супружеской неверности, поскольку брак — еще большее лицемерие.

13. Противоречивость ее взглядов приводила к тому, что я буквально превратился в психиатра. Каких черт характера мне не нужно стесняться? Как мне не оттолкнуть ее и в то же время не показаться надоедливой подпевалой? Пока мы челюстями прокладывали себе путь от блюда к блюду (полоса препятствий для юного Вальмона), я все время чувствовал, как, попробовав наудачу высказать одно мнение, я затем, минутой спустя, искусно изменяю его, чтобы оно совпало с точкой зрения Хлои. Любой ее вопрос заставлял меня трепетать, поскольку он мог случайно задеть тему, которая непоправимо оскорбила бы ее. Разговор за главным блюдом (у меня это была утка, у нее — лосось) напоминал болото, усеянное минами: думаю ли я, что два человека должны жить только друг для друга? Было ли мое детство трудным? Любил ли я когда-нибудь по-настоящему? Как это было? Что руководит моими поступками — сердце или голова? За кого я голосовал на последних выборах? Какой мой любимый цвет? Думаю ли я, что женщины менее постоянны, чем мужчины?

14. Поскольку оригинальность предполагает риск оттолкнуть тех, кто не согласен с точкой зрения говорящего, я полностью отказался от оригинальности. Я только приравнивался ко всему, что, по моему мнению, должна была чувствовать Хлоя. Если ей в мужчинах нравилась грубость, пусть я буду грубым, если ей нравился виндсерфинг, я готов был стать виндсерфингистом, если она ненавидела шахматы, я был согласен ненавидеть шахматы. Мое представление о том, каким она хотела видеть любимого человека, напоминало тесный пиджак, а мое подлинное «я» — толстяка, так что вечер походил на

попытку толстяка влезть в пиджак, который слишком узок для него. Это были отчаянные усилия втиснуть выпирающую плоть в фабричное лекало, втянуть талию и задержать дыхание, только чтобы ткань не начала рваться. Не удивительно, что моя осанка не была такой непринужденной, как мне, возможно, хотелось. Как толстяк может вести себя непринужденно в пиджаке, который ему мал? Он так боится, что пиджак треснет по швам, — он вынужден сидеть смиренно, почти не дыша и молясь о том, чтобы этот вечер закончился без катастрофы. Любовь превратила меня в инвалида.

15. Хлоя мучилась другой дилеммой: подошла очередь десерта, а поскольку выбрать нужно было что-то одно, желаний оставалось гораздо больше.

— Как ты думаешь, шоколад или карамель? — спросила меня (выглядела она при этом виноватой). — Может быть, ты возьмешь одно, а я — другое и мы поделимся?

Мне не хотелось ни того, ни другого, мой желудок буквально отказывался принимать пищу, но надо было думать не об этом.

— Я прямо обожаю шоколад, а ты? — спросила Хлоя. — Не могу понять людей, которые не любят шоколад. Однажды у меня не складывались отношения с парнем — Роберт, я тебе о нем говорила, — я никогда не чувствовала себя с ним комфортно, только было непонятно почему. Потом все прояснилось: он не любил шоколад. Я хочу сказать, не просто не любил, а прямо-таки терпеть не мог. Можно было положить перед ним плитку, и он бы к ней не притронулся. Представляешь, насколько подобный образ мыслей далек от всего, с чем я могу ужиться? После этого, ясное дело, нам пришлось расстаться.

— Тогда давай возьмем оба десерта и попробуем друг у друга. Но что ты выбираешь?

— Не знаю, — соврала Хлоя.

— Правда? Тогда, если тебе все равно, я возьму шоколад, просто не могу отказать себе в этом удовольствии. Видишь здесь, в самом низу, двойной шоколадный торт? Думаю, попрошу принести его. Он выглядит самым шоколадным.

— Ты настоящий грешник, — сказала Хлоя, кусавшая губу от смешанного чувства предвкушения и стыда. — Но почему бы и нет? Ты совершенно прав. Жизнь коротка, и все такое.

16. Я в очередной раз солгал. У меня, сколько я себя помню, всегда было что-то вроде аллергии на шоколад. Но как я мог быть честным и признаться в своих желаниях, если любовь к шоколаду оказалась явно важнейшим критерием совместимости с Хлоей?

17. И несмотря ни на что, моя ложь была неоправданной: в ней я исходил из ложной предпосылки, что мои вкусы и привычки заведомо уступают вкусам и привычкам Хлои и что расхождение наших вкусов она будет рассматривать как непоправимую обиду. Я мог бы сочинить сценарий про себя и шоколад (*«Я любил его больше всего на свете, но целая обойма врачей предупредила меня, что, если я съем еще хотя бы маленький кусочек, я умру. После этого я лечился три года»*.) и, возможно, заслужил бы горячее сочувствие Хлои, но риск был слишком велик.

18. Моя ложь, в той же мере постыдная, как и неизбежная, побудила меня провести границу между двумя разновидностями вранья, *вранье во спасение* и *вранье, на которое человек идет, чтобы завоевать любовь*. Оказалось, что ложь во имя сближения сильно

разнится с ложью в других сферах. Если я говорю неправду полицейскому о скорости, на которой ехал, когда меня остановили, я избираю этот путь по вполне понятной причине — чтобы не платить штраф или чтобы у меня не отобрали права. Но ложь, имеющая целью быть любимым, включает в себе ложную посылку, вроде того что, *если я не буду врать, меня нельзя будет полюбить*. Подобный подход видит залог успеха в избавлении от всех индивидуальных (и потому потенциально отличающихся от заданных) особенностей характера, собственная личность признается состоящей в безнадежном конфликте с совершенствами, обретенными в любимом (а следовательно, и не заслуживающей их).

19. Я солгал, но стал ли от этого хоть немного больше нравиться Хлое? Потянулась ли она через стол, чтобы взять меня за руку, или предложила отказаться от десерта (хотя, возможно, это потребовало бы от нее слишком многого) и пойти домой? Конечно, нет, она лишь выразила легкую досаду, поскольку карамель показалась ей не такой вкусной. Я же решительно высказался в пользу шоколада, бесцеремонно добавив, что в конечном итоге шоколюб, возможно, тоже большая проблема — не только шокофоб.

20. Сближение — разновидность актерства, сдвиг от непосредственного поведения в сторону поведения, диктуемого публикой. Но точно так же, как актер нуждается в четком представлении, чего именно ждет от него зритель, так ищущий сближения должен знать, что желает услышать его предмет. Поэтому если и существует решающий аргумент против лжи во имя любви, то им должно стать то обстоятельство, что в данном случае актер не имеет ни малейшего представления о том, что именно найдет дорогу к сердцу слушателя. Единственное оправдание актерства должно было бы содержаться в его эффективности по сравнению с непосредственным поведением. Однако, учитывая сложность характера Хлои и сомнительную привлекательность подражательной манеры, мои шансы соблазнить ее вряд ли бы серьезно уменьшились, веди я себя самым естественным образом или попросту будь я честен. Неаутентичность, очевидно, лишь вовлекла меня в нелепый фарс перебежки от одного мнения к другому, от одной черты характера к другой.

21. Чаще всего мы добиваемся цели благодаря случаю, а не продуманному плану — плохая новость для соблазнителя, вдохновляемого идеями позитивизма и рационализма, верящего в то, что путем тщательного и почти научного исследования можно установить законы, по которым люди влюбляются. Те, кто ищет сближения, действуют в надежде найти *любовные зацепки*, чтобы поймать на крючок свой предмет — особенная улыбка, или точка зрения, или манера держать вилку... Проблема в том, что, хотя для каждого любовные зацепки существуют, напасть на них в процессе соблазнения можно скорее случайно, чем заранее просчитав все варианты. Действительно, что такое сделала Хлоя, чтобы я влюбился в нее? Мою любовь к ней в равной мере питали и та обворожительная манера, с которой она попросила официанта принести масло, и то, что ее взгляды на достоинства *«Бытия и времени»* Хайдеггера совпали с моими.

22. Любовные зацепки в высшей степени специфичны, они бросают открытый вызов всем законам формальной логики. Когда, случалось, я замечал шаги, сознательно совершаемые женщиной с целью соблазнить меня, то в конечном итоге редко поддавался на эту удочку. Я был склонен влюбляться силой совершенно косвенных или случайных

любовных зацепок, тех, в которых искавшая моей любви даже не вполне отдавала себе отчет и поэтому не могла выдвинуть их на первый план как особо ценные качества. Однажды я влюбился в женщину, у которой был едва заметный пушок над верхней губой. Хотя обычно я в таком случае чувствую только брезгливость, именно у нее данная особенность загадочным образом приворожила меня, мое желание своевольно сосредоточилось именно здесь, а не вокруг ее теплой улыбки, длинных светлых волос или умной беседы. Когда я говорил об этом своем увлечении с друзьями, я горячо настаивал на том, что любовь к ней вызвана некоей «аурой», которой она обладала, — однако мне не удалось уйти от факта, что любовь возникла во мне, в первую очередь, благодаря растительности на ее губе. Когда я в следующий раз встретился с этой женщиной, возможно, дело было в электроэпиляции, так как пушок пропал, и (несмотря на все ее многочисленные достоинства) мое желание скоро отправилось вслед за ним.

23. Когда мы возвращались в Ислингтон, движение по Юстон-роуд было все еще затруднено. Еще задолго до того, как подобные вещи вообще обрели смысл, мы договорились о том, что я подвезу Хлою домой. Тем не менее основной вопрос соблазнителя (*целовать или не целовать*) осязаемо присутствовал с нами в машине. В определенный момент сближения актер должен пойти на риск лишиться своей аудитории. Соблазняя другого, собственная личность может пытаться втереться в доверие, прибегая к тактике подражания, но в конечном счете игра заставляет одного из участников прояснить ситуацию, даже под угрозой оттолкнуть объект своих желаний. Поцелуй бы поставил все с головы на ноги, тактильный контакт необратимо изменил бы соотношение сил, положив конец кодированным сообщениям и узаконив подтекст. И все же, когда мы добрались до дома 23а по Ливерпуль-роуд, я, испытывая величайший страх ошибиться в интерпретации знаков, заключил, что момент, когда мне предложат, как говорится, чашку кофе, еще не настал.

24. Но после еды в состоянии стресса, да еще щедро сдобренной шоколадом, мой желудок неожиданно заявил совершенно иные приоритеты, и мне пришлось попроситься наверх в квартиру. Следом за Хлоей я поднялся в гостиную и оттуда в ванную. Когда через какое-то время я вышел из ванной, мои намерения несколько не изменились, я потянулся за пальто и твердо сказал своей любви — со всей глубокомысленностью человека, отдавшего предпочтение сдержанной манере и решившего, что фантазии последних недель должны оставаться фантазиями, — что я провел прекрасный вечер, что надеюсь скоро снова ее увидеть и что позвоню ей после рождественских каникул. Довольный тем, как убедительно получилось, я поцеловал ее в обе щеки, пожелал доброй ночи и повернулся, чтобы уйти.

25. Учитывая обстоятельства, мне очень повезло: Хлоя оказалась не такой легковверной и задержала меня, ухватив за концы шарфа. Она втащила меня обратно в квартиру, обняла обеими руками и, твердо глядя мне в глаза, с усмешкой, до сих пор относившейся только к шоколаду, прошептала: «*Знаешь, мы ведь не дети*».

26. С этими словами она прижалась губами к моим губам, и начался самый долгий и самый прекрасный поцелуй, который когда-либо выпадал на долю мужчины.

ГЛАВА ПЯТАЯ

РАЗУМ И ТЕЛО

1. Немного найдется в природе вещей, которые были бы настолько противоположны друг другу, как секс и мысль. Секс — продукт тела, мысль в нем не участвует; это дионисийское, моментальное освобождение от власти разума, экстатическое разрешение физического желания. В сравнении с ним мысль выглядит болезнью, патологической одержимостью порядком, воплощением печальной неспособности отдаться потоку. Для меня думать во время секса было все равно что переступить через основной закон близости, расписаться в проклятом бессилии хотя бы эту область сохранить нетронутой для бездумности, свойственной людям до грехопадения. Но был ли у меня выбор?

2. Это был самый сладкий поцелуй, какой только можно себе представить. В нем было и легкое пощипывание травки на пастбище, и нежные поползновения к мародерству — разведка, позволявшая узнать неповторимый вкус кожи друг друга, и так все время, пока давление нарастало, пока наши губы разделились и потом соединились вновь, рты, не дыша, кричали о желании; мои губы лишь на мгновение оставили губы Хлои, чтобы бегло коснуться ее щек, ее висков, ее ушей. Она теснее прижалась ко мне, наши ноги переплелись, голова закружилась, мы рухнули на диван, смеясь и цепляясь друг за друга.

3. Если и было что-то, что нарушало этот Эдем, то это был рассудок, скорее даже мысль о том, как странно лежать в гостиной Хлои, касаться губами ее губ, водить руками вдоль ее тела, чувствовать возле себя ее тепло. После всей неоднозначности поцелуй возник так внезапно, так неожиданно, что мой рассудок отказывался уступить телу контроль за происходящим. Не сам поцелуй, а мысль о поцелуе грозила целиком завладеть моим сознанием.

4. Я ничего не мог с собой поделать: я все время думал о женщине, чье тело, еще несколько часов назад — ее полная и нераздельная собственность (на него лишь намекали очертания блузки и контуры юбки), теперь было готово открыть мне самые потаенные свои уголки, задолго до того (из-за эпохи, в которой нам выпало жить), как она раскрыла передо мной потаенные уголки своей души. Хотя мы проговорили достаточно долго, я чувствовал несоответствие между моим дневным и моим ночным познанием Хлои, между близостью, которую подразумевал контакт с ее половыми органами, и, по большому счету, совершенно неизвестными мне другими аспектами всей остальной ее жизни. Но присутствие в моей голове подобных мыслей в соединении с тем, что мы физически задыхались, казалось, грубо попирало все законы желания — эти мысли вторгались с неприятной объективностью, как будто с нами в комнате присутствовал кто-то третий, — третий, кто смотрел бы, наблюдал, а возможно, и взялся бы судить.

5. — Подожди, — сказала Хлоя, когда я расстегивал на ней блузку, — я задерну занавески: не хочу, чтобы видела вся улица. Или почему бы нам не пойти в спальню? Там больше места.

Мы поднялись со смятого дивана и прошли через темную квартиру в спальню Хлои.

Широкая белая кровать стояла посередине, на ней громоздились подушки, газеты, книги и телефон.

— Извини за беспорядок, — сказала Хлоя. — Прочие помещения для посторонних глаз, а здесь я действительно живу.

На вершине всех этих подушек восседал зверь.

— Познакомься: Гуппи, моя первая любовь, — сказала Хлоя, протягивая мне серого мехового слона, на физиономии которого не читалось и следа ревности.

6. Пока она очищала поверхность кровати, возникла забавная неловкость: на смену активности наших тел всего минуту назад теперь пришло тягостное молчание, которое вдруг открыло нам, как пугающе мало одежды на нас осталось.

7. Поэтому, когда мы с Хлоей раздевали друг друга, сидя на краю широкой белой постели, и при свете маленького ночника впервые увидели наши обнаженные тела, мы постарались вести себя так же беззастенчиво, как Адам и Ева до грехопадения. Я запустил руки Хлое под юбку, а она расстегнула мои брюки с естественным и непринужденным видом, как будто нам было не впервой разглядывать обольстительные контуры половых органов друг друга. Мы вступили в фазу, когда разуму полагается передать контроль телу, когда разум должен освободиться от всяких мыслей, кроме мысли о страсти, когда не должно было оставаться места ни для суждений, ни для чего другого — одно желание.

8. Но если и было что-то, что могло воспрепятствовать нашей не обремененной мыслями страсти, то это была наша вездесущая неуклюжесть. Именно неуклюжесть призвана была напоминать нам с Хлоей о том, насколько смешно и странно мы заканчивали вечер — вдвоем в постели: я, пытаюсь изо всех сил стащить с нее нижнее белье (часть его так и запуталась у нее где-то возле колен), она — мучаясь с пуговицами на моей рубашке. И все же мы оба прилагали усилия к тому, чтобы воздержаться от комментариев, даже от улыбок. Мы упрямо смотрели друг на друга честными глазами страстного желания — как если бы сами не видели смешной стороны происходящего, сидя полуголыми на краю кровати с лицами, полыхающими, как у провинившихся школьников.

9. Когда оглядываешься назад, неуклюжесть в постели выглядит комично и напоминает чуть ли не фарс. В то же время непосредственно в процессе это не такая уж большая трагедия — так, досадная заминка, нарушающая ровное и прямое течение сменяющих друг друга пламенных объятий. Миф о занятиях любовью рисует страсть свободной от малейших препятствий, вроде тех моментов, когда не удастся высвободить руки, или свело ногу, или партнер, стремясь довести удовольствие до заоблачных вершин, причинил другому боль. Меж тем такие помехи, как, например, распутывание волос, в значительной степени требуют участия разума — смущающее вмешательство рассудка там, где должно безраздельно царить вожделение.

10. Если так сложилось, что разум традиционно осуждают, то это происходит потому, что он отказывается уступить контроль причинам, попросту устранившись, отказавшись от всякого анализа; философ в спальне так же смешон, как и философ в ночном клубе. В обоих случаях тело является доминирующим и одновременно ранимым, рассудок же предстает в роли молчаливого и отстраненного судьи. Предательство мысли заключено в ее приватности

— «Если есть вещи, о которых ты не можешь мне сказать, — спрашивает любовник, — мысли, предназначенные лишь для тебя, то действительно ли твое сердце принадлежит мне?» Протест против этой отстраненности, этого сознания собственного превосходства над другими и питает неприятие интеллектуалов — не только возлюбленными, но и нацией, в судебном разбирательстве и в классовой борьбе.

11. В системе традиционных оппозиций мыслитель и любовник находятся на противоположных сторонах спектра. Мыслитель *думает* о любви, любовник просто любит. Пока мои руки и губы ласкали тело Хлои, я не думал ничего ужасного, — я думал лишь о том, что Хлое, пожалуй, помешает, узнай она, что я вообще думаю. Поскольку мысль предполагает суждение (а суждение мы все, законченные параноики, воспринимаем в первую очередь как критическое), в спальне, где нагота делает нас особенно уязвимыми, она всегда подозрительна. Целая череда комплексов, сосредоточенных вокруг размеров, цвета, запаха и поведения половых органов означает, что всякое оценивающее суждение должно быть изгнано. Отсюда — вздохи, которые заглушают звуки мыслей любовника, — вздохи, которые подтверждают сообщение: «Я слишком захвачен страстью, чтобы думать». Я целую, и поэтому я не думаю — таков официальный миф, под прикрытием которого происходят занятия любовью. Спальня — привилегированное пространство, на котором партнеры по обоюдному молчаливому соглашению не напоминают друг другу о внушающем благоговейный страх чуде обоудной наготы.

12. Люди наделены уникальной способностью раздваиваться: действовать и одновременно наблюдать свои действия со стороны, из этого разделения возникает грамматическая категория возвратности. Болезнью же это повышенное самосознание становится тогда, когда человек вообще не способен когда-либо слить воедино наблюдателя и наблюдаемого, не способен быть вовлеченным в деятельность и в то же самое время забыть, что он в нее вовлечен. Это похоже на то, как в мультфильме персонаж легко сбегает вниз с отвесной скалы и не падает, пока вдруг не обнаруживает, что под ногами ничего нет, — тогда он летит вниз и разбивается в лепешку. Насколько счастлив тот, кто действует импульсивно, по сравнению с тем, кто каждую минуту отдает себе отчет в происходящем! Он свободен от разделения на субъект и объект, от навязчивого ощущения зеркала или третьего глаза, который вечно вопрошает, оценивает или просто наблюдает за тем, что делает основное «я» (целует мочку уха Хлои).

13. Есть одна история о добродетельной молодой девице, жившей в XIX веке, которой утром того дня, когда она должна была выйти замуж, мать сказала так: «Сегодня ночью тебе покажется, что твой супруг лишился рассудка, но к утру ты увидишь, что он выздоровел». Разве не потому обижаются на разум, что он символизирует отказ от необходимого безумия со стороны того, над кем он сохраняет власть, когда другие теряют голову?

14. Во время того, что Мастерс и Джонсон^[16] называют «стадией плато», Хлоя посмотрела на меня и спросила:

— О чем ты думаешь, Сократ?

— Ни о чем, — сказал я.

— Черт возьми, да я это по глазам вижу. Почему ты улыбаешься?

— Ни почему, говорю тебе, или из-за всего — тысячи вещей: ты, вечер, как мы здесь его заканчиваем, как это странно и одновременно здорово.

— Странно?

— Ну не знаю, да, странно, я как-то по-детски смущаюсь.

— Хлоя улыбнулась.

— Что смешного?

— Повернись на секунду.

— Зачем?

— Просто повернись.

На одной из стен комнаты, над комодом, под таким углом, чтобы Хлое было видно, висело большое зеркало, в котором отражались наши тела, лежащие рядом, запутавшись в постельном белье. Неужели Хлоя все это время смотрела на нас?

— Прости, я должна была сказать тебе, только я не хотела спрашивать — не в первую ночь, это могло шокировать тебя. Но посмотри, это удваивает удовольствие.

15. Хлоя притянула меня к себе, раздвинула ноги, и мы возобновили наше плавное движение вперед-назад. Я перевел взгляд и в переплетении простынь и рук увидел в зеркале отражение двух людей, занимающихся любовью в постели. Прошла секунда или две, прежде чем я смог признать в мужчине и женщине нас с Хлоей. Было изначальное несовпадение между зеркалом и реальностью наших действий, между зрителем и изображением, но это различие было приятным, в отличие от того болезненного расхождения субъекта и объекта, которое иногда предполагает рефлексия. Зеркало объективизировало наше занятие и в процессе давало мне возбуждающую возможность быть одновременно исполнителем и зрителем нашей любви. Разум начал сотрудничать с телом, проснулся и воспроизводил эротический образ мужчины (ноги партнерши теперь на его плечах), занимающегося любовью с женщиной.

16. Разум не может оставить тело, и было бы наивным предполагать обратное. Поскольку *мыслить* не обязательно означает только выносить суждение (то есть не чувствовать), — мыслить — значит не ограничиваться рамками собственного «я», думать о другом, сопереживать, переноситься душой туда, где не может тело находиться, превращаться в другого человека, чувствовать его удовольствие и отвечать его пульсу, наслаждаться вместе с ним и для него. Без разума тело может думать только о себе самом и о своем собственном удовольствии, без синхронности или поиска путей для того, чтобы доставить удовольствие другому. То, чего человек не может почувствовать сам, он должен пережить в уме. Именно разум вносит слаженность во взаимодействие, регулирует ритм. Если телам предоставить полную самостоятельность, получится безумие на одной стороне и испуганная добродетельная девица — на другой.

17. Хотя все выглядело так, как будто мы с Хлоей просто следовали своим желаниям, на самом деле шел сложный процесс регулировки и подгонки в игре. Несовпадение технических и рациональных усилий по достижению синхронности и физического трансa, воплощенного в оргазме, могло бы вызвать иронию, но только с современной точки зрения на любовь, когда считается, что занятия любовью — дело одних тел, а следовательно — естества.

18. Идею естественного портит противоречие, поскольку миф о природе (подобно Гегелевой «сове Минервы»^[17]) появился лишь тогда, когда ее больше не существовало, и воплотил в себе ностальгию по примитивизму и сублимированную печаль по утраченной энергии. Сексолог, одержимый идеей спонтанности в нашем, лишенном спонтанности мире, тщетно призывает к оргазму, который, по его мысли, призван подтвердить связь человечества с уже порядком выцветшей дикостью, но терпит поражение, столкнувшись с бессильным, бюрократическим синтаксисом. («Радость секса»^[18], выдержавший ряд переизданий документ чувственного фашизма, трезво и местами поражая блеском речевых оборотов, рекомендует читателю:

«Наилучшим методом подготовки к оргазму, с нашей точки зрения, является следующий: положить ладонь на вульву, вложить средний палец между губ и совершать его кончиком движения внутрь влагалища и обратно; основание ладони при этом прижато к лобку».)

19. Частота ритмических движений, которую избрали мы с Хлоей, скоро должна была достичь своего максимума. Обильная влага смочила наши спины, наши волосы были мокрыми от пота; забыв обо всем, мы смотрели друг на друга — душа и тело слились воедино так же, как им суждено слиться в той, другой, смерти (в которой ханжи другого склада долгое время усматривали их разрыв). Это — пространство за гранью памяти, сжатое при своей протяженности, пестрый калейдоскоп, непрерывная смена, наивысшая близость к смерти, распад всякого синтаксиса и закона, когда корсет языка взорвался, разлетелся на крики — мимо смысла, мимо политики, мимо табу — в пропасть текучего забвения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«МАРКСИЗМ»

1. Когда мы смотрим на кого-то (на ангела) с позиции неразделенной любви и рисуем себе удовольствия, которые сулило бы нам пребывание на небесах вместе с ним, мы склонны закрывать глаза на одну серьезную опасность: насколько быстро его или ее достоинства могут потерять блеск, если он (она), в свою очередь, начнет любить нас. Мы влюбляемся, потому что стремимся убежать от самих себя с кем-то настолько же прекрасным, умным и обаятельным, насколько сами мы безобразны, глупы и скучны. Но что, если такое совершенное существо в один прекрасный день совершит поворот на сто восемьдесят градусов и решится ответить нам взаимностью? Единственное, что мы сможем, это испытать подобие шока — а действительно ли он или она так прекрасны, как нам хотелось думать, если у него (у нее) оказался настолько плохой вкус, чтобы снизойти до меня? Если для того, чтобы любить, мы должны верить, что наш предмет в чем-то выше нас, разве не сталкиваемся мы с жестоким парадоксом, когда на нашу любовь отвечают любовью? Мы тогда вынуждены спросить: «Если он (она) действительно такой замечательный, как могло случиться, что он (она) полюбил такого, как я?»

2. Не существует лучшей площадки для желающих изучать человеческую психологию, чем утро на следующий день. Но у Хлои были другие предпочтения, нежели бормотание спросонья: она отправилась мыть голову в ванную, и я проснулся от плеска воды за соседней дверью, струи с шумом разбивались о кафель. Я оставался в постели, завернувшись в простыни, сохранявшие отпечаток и запах ее тела. Это было субботнее утро, и первые лучи декабрьского солнца проникали сквозь занавески. Я в одиночестве разглядывал комнату — любовник как вуайерист, любовник как исследователь-антрополог возлюбленной, — приходя в восторг от каждой находки. Я пользовался привилегией быть допущенным в ее святая святых, в ее кровать, в ее простыни, привилегией смотреть на предметы, служившие ей в течение дня, на стены, которые она видит, просыпаясь каждое утро, на ее будильник, упаковку аспирина, ее часы и серьга на столике около кровати. Любовь проявляла себя как интерес, как восхищение всем, что принадлежало Хлое, материальными свидетельствами жизни, которую мне еще предстояло открыть, но которая уже виделась бесконечно богатой, полной чудес, перешедших из области невероятного в сферу повседневного. В углу стоял блестящий радиоприемник желтого цвета, репродукция Матисса была прислонена к стулу, одежда, в которую Хлоя была одета накануне, висела в стенном шкафу рядом с зеркалом. На комодке лежала стопка книг в мягких обложках, рядом с ней — ее сумка и ключи, бутылка минеральной воды и слон Гуппи. По своеобразной метонимии^[19] я влюблялся в то, что принадлежало ей; все это казалось мне безупречным, совершенным образцом вкуса, отличным от всего, что обычно продается в магазинах (хотя незадолго до того точно такое же радио я видел на Оксфорд-стрит). Предметы превратились в фетиши, явились одновременно символом и эротической заменой моей нимфы, мывшей голову за соседней дверью.

3. — Ты что, примерял мое белье? — спросила Хлоя в следующую минуту, появившись из ванной в пушистом белом халате с полотенцем вокруг головы. — Чем ты тут занимался

все это время? Ну-ка вылезай из постели, я хочу ее убрать.

Я завозился, завздыхал, заахал, заохал.

— Я сейчас приготовлю завтрак. Может, ты пока примешь душ? В шкафу есть чистые полотенца. А как в смысле поцеловать?

4. Ванная была еще одной комнатой, полной чудес. Там стояли баночки, лосьоны, снадобья, духи — святилище ее тела; посетив его, я совершил водяное паломничество. Я вымыл голову, повыл под водой, как гиена, вытерся и почистил зубы новой щеткой, которую дала мне Хлоя. Когда я вернулся в спальню примерно пятнадцать минут спустя, ее уже не было, кровать была убрана, комната приведена в порядок, и занавески раздвинуты.

5. Хлоя не просто приготовила завтрак, она устроила настоящий пир. Здесь были и корзинка с круассанами, и апельсиновый сок, и кофейник с горячим кофе, и яйца, и тосты, и даже огромная ваза с желто-красными цветами посреди стола.

6. — Фантастика, — сказал я. — Ты успела сделать все это, пока я принимал душ и одевался!

— А все потому, что я не такая ленивая, как ты. Давай начнем, пока еда не остыла.

— Это так мило с твоей стороны.

— Ерунда.

— Нет, правда. Не каждый день я получаю завтрак, приготовленный специально для меня, — сказал я и обнял ее за талию.

Она не повернулась ко мне, однако взяла мою руку в свои и некоторое время держала.

— Не обольщайся, я это сделала не для тебя. Я всегда так завтракаю в выходные.

Было ясно, что она говорит неправду. Она немного гордилась тем, что отвергала романтику, стараясь избегать сантиментов, как настоящий стоик; но в глубине души она сама была прямой противоположностью этому, идеалисткой, мечтательницей — податливой, глубоко привязанной ко всему, что она на словах так легко отметала как *слащавое*.

7. Во время чудесного, *слащавого* завтрака, мне кое-что стало понятно, кое-что такое, что кому-то, возможно, показалось бы до боли очевидным, но что меня вдруг поразило как нечто совершенно неожиданное и абсолютно непостижимое, а именно что Хлоя отчасти начала чувствовать по отношению ко мне то, что я уже давно чувствовал по отношению к ней. Объективно, это была вполне заурядная мысль, но, полюбив Хлою, я почему-то полностью упускал из виду возможность взаимности. Не то чтобы такой поворот был для меня обязательно неприятен, просто я не думал об этом, я скорее рассчитывал любить, чем быть любимым. И если я и сосредоточился прежде всего на первом чувстве, то это, возможно, потому, что быть любимым всегда самое сложное из двух, стрелу Купидона легче послать, чем получить, легче вручить, чем принять.

8. Трудности с получением как раз и поджидали меня вместе с завтраком, потому что, хотя круассаны не могли быть более французскими, а кофе — более ароматным, было нечто, что говорило о внимании и привязанности, символом которой они являлись, и оно беспокоило меня. Накануне Хлоя открыла мне свое тело, этим утром она открыла свою кухню, и я теперь не мог избавиться от ощущения неловкости (граничившего с

раздражением), начиная помимо воли думать: «Что я такого сделал, чтобы заслужить это?»»

9. Немного есть вещей, которые могут одновременно наполнить вас таким ликованием и таким ужасом, как осознание того, что вы — объект чьей-то любви, поскольку, если человек не пребывает в полной уверенности относительно своей способности внушать любовь, то в этом случае принятие чьей-то привязанности может ощущаться как получение великих почестей, когда так и не понимаешь до конца, что ты такого сделал, чтобы их заслужить. Как бы сильно я сам ни любил Хлою, ее внимание говорило о чем-то, что лишало меня равновесия. Существуют люди, для которых подобные проявления лишь подтверждают то, что они знали всю жизнь, а именно что им от природы дано внушать любовь. Но есть и другие, кто, не будучи уверен в этой своей способности, не дают себя убедить так легко. Любовники, которым настолько не повезло, что они ставят на стол завтрак для таких типов, должны заранее подготовиться к тому, что им придется снимать с себя обвинения в лести и притворстве.

10. То, из-за чего возникает спор, никогда не бывает так важно, как ощущение дискомфорта, прикрытием которого он является. Наш спор начался из-за земляничного джема.

— У тебя есть земляничный джем? — спросил я Хлою, осматривая заставленный стол.

— Нет, вот малиновый, ты что, не ешь его?

— В общем, нет.

— Ну, тогда вот еще ежевичный.

— Ненавижу ежевику, а ты, ты что, любишь ежевику?

— Да, а почему бы нет?

— Она ужасна. Так что, здесь нет приличного джема?

— Я бы так не сказала. Здесь на столе пять баночек джема, нет только земляничного.

— Понятно.

— Почему ты устраиваешь из-за этого такой шум?

— Потому что я ненавижу завтракать без приличного джема.

— Но здесь есть приличный джем, нет только того, который ты любишь.

— Магазин далеко?

— А что?

— Я собираюсь пойти и купить джем.

— Господи, мы только что сели, если ты пойдешь, все будет холодное.

— Я пойду.

— Зачем? Ведь все остынет!

— Затем, что мне нужен джем, вот зачем.

— Что с тобой?

— Ничего, а что?

— Ты меня сметишь.

— Это не смешно.

— Смешно.

— Мне просто нужен джем.

— Почему ты такой невыносимый? Я приготовила тебе целый завтрак, а ты устраиваешь скандал из-за какой-то баночки с джемом. Если тебе действительно нужен этот

твой джем, то отправляйся отсюда ко всем чертям и ешь его с кем-нибудь другим.

11. Наступило молчание, глаза Хлои наполнились слезами, она вдруг резко поднялась и ушла в спальню, захлопнув за собой дверь. Я остался сидеть за столом, прислушиваясь к звукам, которые скорее всего должны были означать плач, и чувствуя себя идиотом из-за того, что обидел женщину, которую, по своим собственным словам, любил.

12. Безответная любовь может причинять страдания, но в этих страданиях не заключается никакой опасности, ведь ты не можешь причинить боль никому, кроме себя самого; это своя, отдельная боль, горькая и сладкая, берущая начало в тебе самом. Но в тот момент, когда любовь становится взаимной, нужно быть готовым оставить пассивность простого переживания страдания и взять на себя ответственность за преступление причинить страдание другому.

13. Но ответственность, пожалуй, самый тяжелый груз. Отвращение, которое я чувствовал к себе за то, что обидел Хлою, моментально обернулось против нее. Я возненавидел ее за все усилия, которые она предприняла ради меня, за то, что она имела слабость поверить в меня, за ее дурной вкус, с которым она позволила мне обидеть себя. Мне вдруг показалось верхом сентиментальности, почти что театром, что она дала мне свою зубную щетку, приготовила мне завтрак и расплакалась в спальне, как ребенок. Я ненавидел чувствительность, которую она неожиданно выказала по отношению ко мне и моим словам, и сгорал от желания наказать ее за эту слабость.

14. Почему я превратился в такое чудовище? Потому, что я всегда был немножко «марксист».

15. Есть известная шутка Граучо Маркса^[20], смеявшегося над тем, что он не снизошел бы до записи в клуб, который согласился бы принять в свои члены такого, как он, — истина, одинаково верная и для членства в клубе, и для любви. Позиция марксиста представляется нам смешной из-за своей парадоксальной абсурдности.

Как возможно, чтобы я одновременно желал стать членом клуба и утрачивал бы это желание, стоило ему осуществиться?

Как могло случиться, что, после того как я захотел, чтобы Хлоя полюбила меня, я рассердился на нее, когда она сделала это?

16. Возможно, причину следует искать в том, что истоки известного сорта любви лежат в стремлении убежать от самих себя и своих слабостей — через любовную связь с прекрасным или могущественным: Богом, клубом, *с ней* или *с ним*. Но если предмет любви, в свою очередь, начинает любить нас (если Бог отвечает на наши молитвы, если клуб удостоивает нас членства), нам ничего не остается, как вернуться к самим себе, и это напоминает нам о вещах, которые прежде всего и подтолкнули нас к любви. Возможно, в конечном итоге нам нужна была вовсе не любовь, — возможно, это всего лишь был кто-то, в кого нам хотелось верить, но как мы можем продолжать верить в возлюбленного теперь, когда он сам поверил в нас?

17. Я недоумевал, какое оправдание найти Хлое, если она вообще допустила мысль, что

может сделать такого негодяя, как я, средоточием своей эмоциональной жизни. Если и показалось, что она немножко влюблена в меня, то разве это не просто потому, что она ошиблась на мой счет? Классический «марксистский» подход: когда любви желают, но не могут ее принять из-за боязни разочарования, которое неизбежно последует, когда обнаружится ваше истинное лицо, — разочарования, которое обычно к этому моменту уже имело место (возможно, «благодаря» родителям), а сейчас проецируется на будущее. Мироощущение «марксистов» таково, что их внутренняя сущность настолько глубоко неприемлема для прочих людей, что интимная близость непременно разоблачит в них мошенников. Так зачем тогда принимать дар любви, если его со всей вероятностью тут же потребуют назад? «Если ты сейчас меня любишь, это только потому, что ты не видишь меня целиком, — думает «марксист», — а если ты не видишь меня целиком, нужно быть безумцем, чтобы дать себе привыкнуть к твоей любви раньше, чем это произойдет».

18. По этим причинам ортодоксальный «марксистский» союз должен быть основан на неравенстве в обмене чувствами и поддерживаться им. Хотя с позиции неразделенной любви «марксисты» склонны искать взаимности, подсознательно они тем не менее предпочитают, чтобы их мечты оставались фантазиями. Они высказались бы за то, чтобы их любовь была разве что признана, чтобы их партнер не звонил им слишком часто, или даже лучше, сделал им одолжение быть большую часть времени за пределами эмоциональной досягаемости. Такое положение вещей не угрожало бы их чувству собственного достоинства — *почему остальные должны думать о них лучше, чем они сами думают о себе?* Если как-нибудь случайно их предмет стал бы думать о них хорошо (стал бы спать с ними, улыбаться им и кормить завтраком), тогда первым желанием «марксиста» стало бы стремление нарушить идиллию — *не потому, что все это ему неприятно, а потому, что вызывает ощущение незаслуженности*. Только пока человек, которого любит марксист, считает его в большей или меньшей степени ничтожеством, «марксист» может пребывать в уверенности, что этот человек представляет собой в большей или меньшей степени все. Для предмета начать любить означало бы тут же запятнать свое совершенство несчастной связью с негодяем. Если Хлоя так упала в моих глазах из-за того только, что спала со мной и была со мной мила, не потому ли это случилось, что в процессе она заразилась *я-вирусом*, подхватив его в опасной близости от «марксиста»?

19. Я часто видел «марксизм» в деле на примере других. Когда мне было шестнадцать, у меня некоторое время продолжался роман с пятнадцатилетней девицей, которая одновременно была капитаном сборной команды своей школы по волейболу, очень хорошенькой и законченной «марксисткой».

— Если мужчина говорит, что позвонит мне в девять, — однажды поделилась она за стаканом оранжада, которым я угостил ее в школьном буфете, — и действительно звонит в девять, я не буду брать трубку. В конце концов, что он во мне нашел? Мне понравится только такой парень, который заставит меня ждать, — в половине десятого я сделаю для него что угодно.

Должно быть, даже в таком возрасте я уже интуитивно отдавал себе отчет в ее «марксизме», поскольку я помню, какие прилагал усилия, стараясь не показать, что меня интересуют хоть что-нибудь из того, что она говорила или делала. Моя награда не заставила себя ждать. Она последовала через пару недель в виде первого поцелуя, но, хотя эта девушка

была прекрасна без всяких оговорок (и одновременно столь же искусна в любви, как в волейболе), отношения наши долго не продлились. Я попросту устал назначать время и каждый раз звонить позже.

20. Несколько лет спустя я встречался с другой девушкой, которая (как всякий порядочный «марксист») полагала, что мужчины должны тем или иным образом игнорировать ее, чтобы завоевать ее любовь. Однажды утром, собираясь с ней на прогулку в парк, я надел старый и в высшей степени непрезентабельный ярко-синий свитер.

— Одно я могу тебе точно сказать: я никуда не пойду с тобой, пока ты в таком виде! — воскликнула Софи, когда увидела меня спускающимся с лестницы. — Ты, наверное, шутишь, если думаешь, что я покажусь на людях с человеком, одетым в такой джемпер.

— Софи, какая разница, во что я одет? Мы всего-навсего идем гулять в парк, — ответил я, наполовину принимая ее слова всерьез.

— Мне все равно, куда мы идем, говорю тебе, я не пойду в парк с тобой, если ты не переоденешься.

Но меня обуяло прямо-таки ослиное упрямство, и я отказался сделать так, как хотела Софи, отставив ярко-синий свитер с таким упорством, что некоторое время спустя мы уже шли по направлению к Ройял Хоспитал Гарденс, а вызывающий предмет одежды по-прежнему оставался на мне. Когда мы дошли до ворот парка, Софи, которая до тех пор находилась в умеренно мрачном расположении духа, вдруг прервала молчание, взяла меня под руку, поцеловала и сказала слова, в которых, пожалуй, заключена вся сущность «марксизма»: «Ничего, я не сержусь на тебя, я даже рада, что ты не снял этот кошмар. *Если бы ты сделал, как я просила, я бы решила, что ты слабак*».

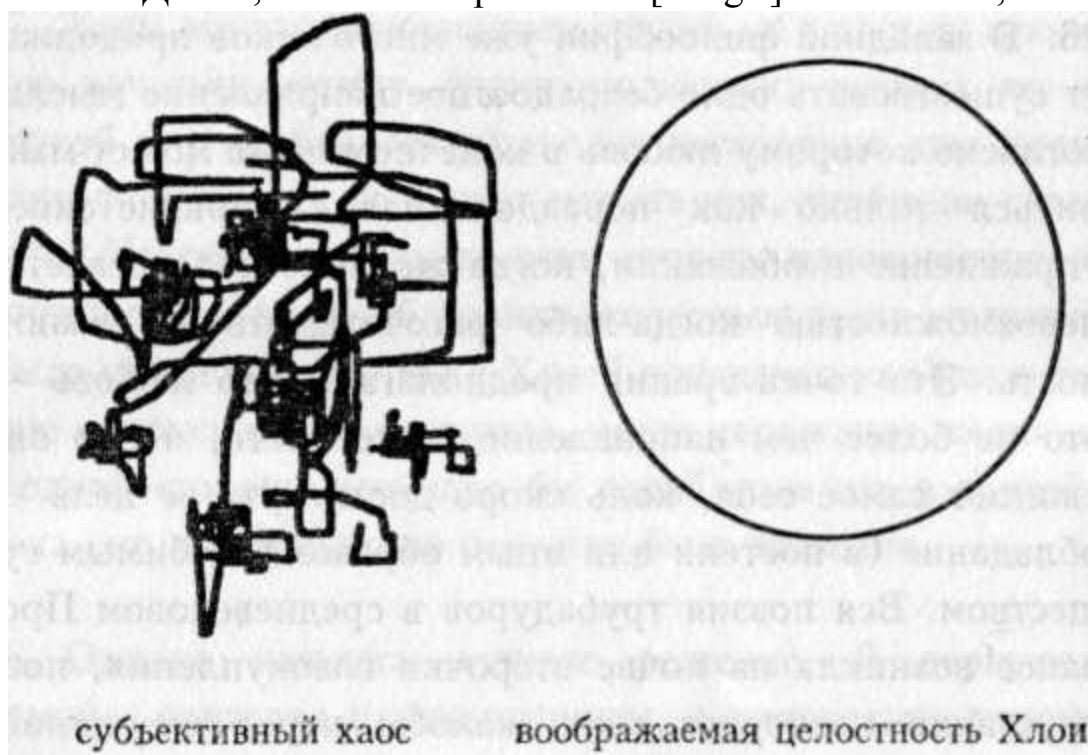
21. Следовательно, клич «марксиста» — это парадоксальное: «Игнорируй меня, и я буду тебя любить, не звони мне вовремя, и я поцелую тебя, не спи со мной, и я буду обожать тебя». Если переложить его на язык садоводства, марксизм — комплекс, включающий в себя уверенность, что трава всегда зеленее по другую сторону забора. Одни в своем саду, мы завистливо взираем на зеленый участок соседа (или на прекрасные глаза Хлои, или на то, как она расчесывает волосы). Дело не в том, что сама по себе растительность на соседском участке сколько-нибудь зеленее или гуще, чем на нашем собственном (что у Хлои глаза обязательно красивее, чем у человека рядом с ней, или что одинаковая расческа из одинакового магазина не может сделать такими же пышными его волосы). На самом деле траву более зеленой и желанной делает то обстоятельство, что она не наша, что она принадлежит соседу, что она не поражена *я-вирусом*.

22. Но что, если сосед внезапно влюбился в нас и обратился в правление за разрешением сломать забор, разделяющий два сада? Разве в этом не будет заключена угроза для нашего желания заполучить его траву? Разве участок соседа понемногу не растеряет свою привлекательность и не начнет выглядеть таким же надоевшим и затасканным, как наш собственный газон? Возможно, предметом наших стремлений была вовсе не обязательно более зеленая трава, но трава, которой мы могли восхищаться (независимо от ее состояния), *потому что она не была нашей*.

23. Быть любимым кем-то — значит осознать, насколько этот человек зависим,

насколько он разделяет ту же самую потребность в зависимости, удовлетворения которой мы искали в нем прежде всего. Мы не полюбили бы, если бы внутри нас не было пустоты, но парадоксальным образом нас задевает, когда мы обнаруживаем такую же пустоту в другом. Рассчитывая найти ответ, мы находим лишь точное повторение нашей собственной проблемы. Мы осознаем, насколько он или она тоже нуждается в божестве, мы видим, что нашему предмету, как и нам, не удалось избежать ощущения беспомощности и, следовательно, искушения стать по-детски пассивным, спрятаться за обожанием богоподобного существа и поклонением, и теперь нам предстоит взять на себя ответственность за то, чтобы нести и одновременно быть несомым.

24. Альбер Камю высказал мысль, что мы влюбляемся в других людей, потому что со стороны они кажутся нам такими *цельными*, цельными физически и в то же время эмоционально «компактными», тогда как себя мы субъективно ощущаем как совершенное смятение и разброс. Испытывая недостаток в связности речи, предсказуемости поведения, целеустремленности, единстве темы, мы иллюзорно приписываем эти качества другому. Разве в моем отношении к Хлое не было чего-то подобного, а именно, что со стороны (до телесного контакта) она представлялась мне полностью контролирующей себя, обладающей твердым и последовательным характером (см. ил. 6.1), и, напротив, после близости я увидел, что она уязвима, легко падает духом, разбрасывается, зависима? Разве это не тот же случай ницшеанского «я», сводимого к простой сумме действий, когда оно связывается и сексуально влечется к идее «совершенной» личности епископа Батлера^[21]? Итак, как поет в знаменитой песне Боб Дилан, «Don't fall apart on me [tonight]» после того, как хлынули слезы.



Ил. 6.1

25. Поэтому объект желания должен достичь правильного, с точки зрения «марксиста», равновесия в области, где почти общепринятой нормой является отсутствие нормы, равновесия между излишней уязвимостью и излишней независимостью. Слезы Хлои испугали меня, потому что на уровне подсознания они явились напоминанием о моей собственной ранимости по отношению к ней. Я осудил в ней уязвимость, которой боялся в

самом себе. В то же время, какой бы серьезной ни была проблема уязвимости, я знал, что точно такой же проблемой явилась бы и независимость, поскольку видел женщин, в своей высокомерной холодности практически сводивших к нулю потребность в возлюбленном. Перед Хлоей стояла сложная задача: быть не настолько уязвимой, чтобы это угрожало моей независимости, но и не настолько независимой, чтобы игнорировать мою уязвимость.

26. В западной философии уже много веков продолжает существовать одно безрадостное направление мысли, согласно которому любовь в конечном итоге может мыслиться только как неразделенная, «марксистское» упражнение в обожании, когда желание подогревается невозможностью когда-либо рассчитывать на взаимность. Эта точка зрения предполагает, что любовь — это не более чем направление, а не место, и что она сжигает самое себя, коль скоро достигнута ее цель — обладание (в постели или иным образом) любимым существом. Вся поэзия трубадуров в средневековом Провансе возникла на почве отсрочки совокупления, поэт неустанно повторяет свои жалобы перед женщиной, которая раз за разом отвергает его отчаянную мольбу. Четыре века спустя Монтень высказал ту же самую мысль о том, что побуждает любовь расти. Он писал: «В любви нет ничего, кроме безумного желания догнать ускользающее от нас». Ему вторит афоризм Анатоля Франса: «У людей не в обычае любить то, что имеешь». Стендаль полагал, что любовь питается исключительно страхом потерять любимого человека, Дени де Ружмон^[22] утверждал: «Следует отдать предпочтение самому серьезному препятствию. Именно оно годится лучше всего, чтобы разжечь страсть», а Ролан Барт^[23] сводил желание к стремлению достичь того, что по определению недостижимо.

27. Если это так, любовникам ничего не остается, кроме как качаться между двумя полюсами: *тоской по* и *скукой с*. У любви нет остановок посередине, она лишь направление, она не может желать так, чтобы не схватить. Поэтому любовь должна сгореть одновременно с достижением цели, обладание желаемым гасит желание. Была опасность, что мы с Хлоей попадемся как раз в такую «марксистскую» спираль, когда нарастание желания с одной стороны означало бы ослабление его в другой, пока оно постепенно не перешло бы в забвение.

28. Однако нашлось лучшее решение. Я вернулся домой с завтрака пристыженным, с виноватым лицом, подыскивая оправдания и готовый на все, лишь бы вернуть Хлою. Это оказалось нелегко (сначала она вешала трубку, потом спросила, обязательно ли я веду себя «как панк-малолетка из предместья» с женщинами, с которыми переспал), но после извинений, выпадов, смеха и слез Ромео и Джульетту можно было встретить уже в тот самый день, сентиментально держащими друг друга за руку в темном зале «Национального кинотеатра» на «Любви и смерти» (сеанс в шестнадцать тридцать). Счастливое окончание, по крайней мере на этот раз.

29. Большинство отношений обычно переживает «марксистский» момент (момент, когда становится ясно, что любовь взаимна), и то, как он разрешается, целиком зависит от соотношения внутри личности между любовью и ненавистью к себе самому. Если ненависть к себе оказывается сильнее, тогда тот, кто получил любовь, заявит (под тем или иным предлогом), что возлюбленный или возлюбленная недостаточно хороши для него

(недостаточно хороши в силу связи с ним, нехорошим). Но если возобладала любовь к себе, тогда в самом факте, что их любовь взаимна, оба партнера могут признать свидетельство не того, что у возлюбленного (возлюбленной) плохой вкус, а того, насколько они сами вдруг оказались заслуживающими любви.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ФАЛЬШИВЫЕ НОТЫ

1. Задолго до того, как у нас появляется возможность познакомиться со своим избранником поближе, нас может посетить странное чувство, что мы уже были когда-то знакомы. Нам кажется, будто мы раньше где-то встречались с ним, возможно в предыдущей жизни или во сне. В «Пире» Платона Аристофан объясняет это ощущение знания тем, что любимый человек будто бы наша давно утерянная «вторая половина», тело которой прежде составляло одно целое с нашим. Изначально все человеческие существа были гермафродитами с двойными спинами и боками, с четырьмя руками и четырьмя ногами и с двумя лицами на одной голове, обращенными в противоположные стороны. Эти гермафродиты были так могущественны и их гордыня была такой чрезмерной, что Зевсу пришлось разделить каждого из них на две половинки, мужскую и женскую, и с того дня любой мужчина и любая женщина стремятся воссоединиться с половиной, с которой его или ее разлучили.

2. Мы с Хлоей встретили Рождество врозь, но когда в новом году вернулись в Лондон, то стали проводить в компании друг друга каждую свободную минуту: по большей части, в объятиях, нередко — в постели одного из нас. Наш роман был типичным для городской жизни конца двадцатого века — втиснутый между присутственными часами (телефон как пуповина, когда ожидание делалось невыносимым), оживленный разного рода перемещениями, как, например, прогулками в парке, визитами в книжные магазины и едой в ресторанах. Эти первые недели были сродни открыванию заново в другом второй половины некогда двуполого тела. Мы сходились во мнениях по самым разнообразным поводам; в результате нам пришлось сделать вывод, что, несмотря на отсутствие видимых следов разъединения, мы когда-то являлись частями единого целого.

3. Когда философы выдумывают утопические общества, они редко представляют их себе тиглем, где различия сплавлялись бы воедино, — скорее, в основание этих обществ кладется сходство мыслей и единство, подобие и однородность, ряд общих целей и посылок. Если точно, именно эта согласованность и делала жизнь с Хлоей такой привлекательной. После бесконечной череды непримиримых противоречий в сердечных делах я наконец нашел кого-то, чьи шутки были мне понятны без словаря, чьи взгляды казались невероятно близкими к моим, чьи симпатии и антипатии являли точную параллель с моими и с кем я все время ловил себя на том, что говорю: «Забавно, я как раз собирался сказать/подумать/сделать/рассказать то же самое...»

4. Критики любви справедливо ставили под сомнение идею слияния, что различия между людьми могут сгладиться настолько, чтобы незаметен стал переход от одного к другому. Сомнение берет начало от идеи, что легче воспринять сходство, чем различие (близкое не нужно *изобретать*), и что в отсутствие прямых свидетельств противоположного мы всегда склонны изобретать то, что нам уже знакомо, а не то, чего мы не знаем и боимся. Когда мы влюбляемся, то не располагаем достаточным материалом и компенсируем свою неосведомленность желанием. Но, как указывают критики, время скоро откроет нам, что

кожа, разделяющая наши тела, не только физическая граница, что она выступает представителем более глубоких, психологических противоречий, пытаться преодолеть которые было бы глупо.

5. Поэтому, если подходить к любви серьезно, с первого взгляда не влюбляются. Любовь возникает лишь тогда, когда человек знает, насколько глубоки воды, в которые ему предстоит нырнуть. Только после многочисленных рассказов из предыдущей жизни, обмена взглядами на политику, искусство, науку, сведений о том, что каждый предпочитает есть на ужин, двое могут решить, готовы ли они полюбить друг друга. Это решение, утвержденное на понимании с обеих сторон, и гораздо более обоснованное, чем надуманная близость. Если подходить к любви серьезно — только когда действительно знаешь своего партнера, у чувства есть шанс развиваться. И напротив, в искаженной реальности любви (любовь, которая родилась *до того*, как мы знаем) увеличивающееся знание в равной мере может явиться как стимулом, так и препятствием, поскольку оно может привести утопию к опасному конфликту с реальностью.

6. Осознание того, что, какие бы очаровательные совпадения мы ни обнаружили в себе, Хлоя, пожалуй, все-таки не была тем человеком, с которым нас разделила жестокая рука Зевса, я отношу к моменту где-то в середине марта, когда она представила меня своей новой паре туфель. Выбор основания для такого вывода, возможно, отдавал педантизмом, но туфли — важный символ различий в эстетике, а следовательно, если трактовать широко, — в психологии. Перед этим я уже нередко замечал, насколько больше определенные области и покровы тела могут сказать о человеке по сравнению с другими: туфли дают больше информации, чем свитера, большие пальцы по сравнению с локтями, белье по сравнению с верхней одеждой, лодыжки по сравнению с плечами.

7. Что было не так в туфлях Хлои? Говоря объективно, ничего (но когда человек влюбляется *объективно?*). Она купила их в субботу утром в магазине на Кингс-роуд, они предназначались для вечера, на который мы были приглашены в гости. Я уловил смелый замысел художника — создать модель одновременно на низком и высоком каблуке; подошва на платформе резко поднималась к пятке всей шириной домашней тапочки, но при этом на высоту шпильки. Затем шел высокий верх, отдаленно напоминающий воротник испанского гранда, украшенный бантом, звездами, обшитый по краю куском толстой ленты. Туфли были в высшей степени стильными, они были хорошо сделаны, они были чистые — и тем не менее это были именно такие туфли, какие я больше всего ненавидел.

8. — Они тебе не нравятся? — задала Хлоя вопрос, явно лишний в этой ситуации, будучи сама в полном восторге от нового приобретения. — Я собираюсь их носить каждый день, а ты находишь их ужасными?

Хотя я и любил ее, но волшебная палочка, которая должна была превратить эти туфли в объект вожделения, отказывалась явить свое обычное волшебство.

— Честное слово, я купила бы весь магазин. У них такие потрясающие вещи! Ты бы видел, какие там продаются ботинки.

Я был шокирован при виде восторга Хлои (с которой до тех пор почти во всем соглашался) по поводу того, что, на мой взгляд, можно было в лучшем случае назвать парой

отвратительнейших туфель. Моя идея того, кем была Хлоя, моя аристофановская *уверенность* в том, кем она была, не вмещала этот исключительный энтузиазм. Я чувствовал смущение, когда пытался представить, что именно думала Хлоя, покупая их; я спрашивал себя: «Как ей могли понравиться одновременно эти туфли *и* я?»

9. Выбранные Хлоей туфли послужили тревожным сигналом того, что она существовала вполне автономно (вне всех фантазий о слиянии), что ее вкусы не всегда соответствовали моим собственным, что, даже если мы и совпадали во взглядах на определенные вещи, эта совместимость не была бесконечной. Ее выбор послужил напоминанием о том, что узнать человека лучше не всегда означает узнать что-то приятное для себя, как это могло бы показаться с точки зрения здравого смысла. Ведь насколько вероятным кажется обнаружить в другом восхитительное сходство, настолько же следует считаться с вероятностью встретить серьезные различия. Глядя на новые туфли Хлои, я вдруг поймал себя на мысли, что есть некоторые вещи, которых я *не* хотел бы знать о ней, чтобы они не нарушали чудного образа, который, лишь только я впервые увидел ее, уже сложился в моем воображении.

10. Бодлер написал стихотворение в прозе о человеке, целый день проходившем по Парижу с женщиной, которую он, казалось, уже готов был полюбить. Они сходились во взглядах на такое множество вещей, что к вечеру он был уверен, что нашел идеального спутника, с чьей душой единственно может соединиться его душа. Измученные жаждой, они заходят в сияющее огнями новенькое кафе на углу бульвара, где видят нищую семью из рабочих кварталов. Бедняги пришли поглазеть сквозь сверкающие стекла кафе на элегантных гостей, ослепительно белые стены и золотые украшения. Сердце рассказчика наполняется чувством жалости и стыда за свое привилегированное положение. Он поворачивается к своей возлюбленной, чтобы увидеть в ее глазах отражение своих мыслей. Но женщина, с чьей душой он уже был готов соединиться, замечает, что эти негодники с их широко раскрытыми, удивленными глазами невыносимы, и просит его сказать хозяину, чтобы он сейчас же прогнал нищих прочь. Разве не в каждом романе есть подобные моменты? Поиск глаз, в которых отразились бы твои мысли, а вместо этого — (трагикомическое) расхождение, и все равно, идет ли речь о классовой борьбе или о паре туфель.

11. Возможно, правильно будет сказать, что легче всего влюбиться в людей, которые очень мало рассказывают нам о себе помимо того, что мы можем прочесть на их лице или в голосе. В воображении человек бесконечно, замечательно податлив. Если вы настроены хоть сколько-нибудь мечтательно, нет ничего романтичнее любовных историй, которые сочиняешь для себя во время продолжительных путешествий на поезде, глядя на симпатичную пассажирку или пассажира, смотрящих в окно, — безупречный роман, который обрывается, когда Троил или Хрисеида ^[24] отводит взгляд от окна и заводит скучный разговор с соседом или вовсе непривлекательно прочищает нос, достав грязный носовой платок.

12. Уныние, в которое нас может привести более тесное знакомство с любимым, сродни тому чувству, что испытывает человек, сочинивший чудесную симфонию, когда первый раз слышит ее не у себя в голове, а в большом зале в исполнении симфонического оркестра. Несмотря на впечатление от того, что столько из придуманного нами нашло замечательное

подтверждение в исполнении, мы против своей воли замечаем мельчайшие вещи, которые не вполне соответствуют тому, как мы их задумали. Не расстроена ли одна из скрипок? Не вступает ли флейта чуть позже положенного? Не играют ли ударные чуть громче, чем надо? Люди, которых мы любим, с первого взгляда так же чудесны, как музыка, звучащая в нашей голове. Они свободны от столкновений на почве литературных вкусов или взглядов на обувь, так же как неотрепетированная симфония свободна от расстроенных скрипок или запаздывающих флейт. Но стоит нашей фантазии зазвучать в концертном исполнении, как ангельские создания, парившие в сознании, спускаются на землю и оказываются существами из плоти и крови, нагруженными своей (часто труднопреодолимой) душевной и физической историей, — мы узнаем, какой пастой они чистят зубы, как подрезают ногти и как предпочитают Бетховена Баху, а карандаши — авторучкам.

13. Туфли Хлои были лишь одной из числа фальшивых нот, проявившихся в начальный период наших отношений — период перехода (если, конечно, можно выразиться так оптимистично) от внутренней фантазии к внешней реальности. Жизнь с ней изо дня в день напоминала акклиматизацию в чужой стране, я то и дело становился жертвой ксенофобии, когда был вынужден отходить от собственных традиций и истории. Она включала географические и культурные неурядицы, вынуждая нас в этот промежуток все время переходить от привычки жить одному к привычке жить вместе и обратно, когда, например, вдруг возникшее страстное желание Хлои отправиться в ночной клуб или мое — посмотреть авангардный фильм рисковало прийти в противоречие с установившейся привычкой одного из нас рано ложиться спать или со сложившимися вкусами другого.

14. Угрожающие расхождения не скапливались вокруг глобальных вопросов (национальность, пол, класс, занятие), напротив, касались скорее незначительных швов на стыке вкусов и мнений. Почему Хлоя настаивала на том, чтобы оставлять макароны на огне те фатальные несколько лишних минут? Почему я был так привязан к своим тогдашним очкам? Почему она должна была делать свою утреннюю гимнастику в спальне каждое утро? Почему мне обязательно были необходимы восемь часов сна? Почему у нее не находилось побольше времени для оперы? Почему у меня не находилось побольше времени для Джони Митчелл^[25]? Почему она не могла терпеть морепродукты? Как можно бы было объяснить мое отвращение к цветам и садоводству? Или ее — к путешествиям по воде? Как она могла с удовольствием рассказывать, о чем она просит Бога («по крайней мере, до первого рака»)? И почему я был так замкнут, когда мы касались этой темы?

15. Антропологи говорят, что группа всегда идет впереди индивида, что для того, чтобы понять последнего, нужно начать с первого, будь то народ, племя, клан или семья. Хлоя относилась к своим домашним без большой теплоты, но когда ее родители пригласили нас к себе на воскресенье в свой дом в Марлборо, я упросил ее принять приглашение. «Увидишь, тебе не понравится, — сказала она. — Но если ты действительно хочешь, я не против. По крайней мере, ты поймешь, от чего я всю свою жизнь пытаюсь убежать».

16. Несмотря на ее стремление к независимости, наблюдение за Хлоей в домашнем окружении прояснило мне некоторые ее особенности, а также природу некоторых из наших расхождений. Все в Гнарлид-Оук-коттедж свидетельствовало о том, что мы с Хлоей

родились в разных мирах (почти что галактиках). Гостиная была обставлена мебелью в стиле чиппендейл, ковер на полу, весь в пятнах, был красновато-коричневого цвета, на пыльных полках стояли тома Троллопа^[26], картины в духе Стаббса^[27] увешивали стены, три слюнявые собаки бегали туда-сюда между гостиной и садом, какое-то мощное растение стояло в кадке в углу. Мать Хлои была одета в местами рваный толстый темно-красный свитер и цветастую мешковатую юбку, длинные седые волосы были кое-как сколоты на затылке, не образуя прическу. Если бы в ее волосах и на одежде обнаружили соломинки, то это показалось бы почти естественным. Впечатление деревенской непринужденности усиливалось и тем, как она все время забывала мое имя (забыв, каждый раз проявляла изобретательность, придумывая другое). Я подумал о разнице между матерью Хлои и своей — насколько контрастное введение в мир совершили эти две женщины! Как бы далеко Хлоя ни ушла от всего этого в сторону большого города, к своим собственным ценностям и друзьям, она все еще представляла с этой семьей общую генетическую и историческую традицию, будучи ее частью. Я замечал пересечения между поколениями: ее мама готовила картошку точно так же, как Хлоя, мелко покрошив в масло несколько зубчиков чеснока и посыпав сверху морской солью. Они обе любили живопись и обе питали слабость к определенным воскресным газетам. Отец был неутомимый путешественник, и Хлоя тоже любила прогулки, часто вытаскивая меня в выходные пробежаться кругом Хемпстед Хиз, так же превознося благотворное действие свежего воздуха, как когда-то, наверное, это делал ее отец.

17. Это все было так ново и так странно. Дом, в котором она выросла, оживил прошлое, где не было меня, и мне предстояло принять его на борт, чтобы понимать ее. Обед прошел в основном в вопросах и ответах, которыми Хлоя обменивалась со своими родителями, касавшихся различных сторон семейной жизни: покрыла ли страховка больничные счета Грена? Починили ли цистерну? Кэрлайн еще не звонили из агентства по торговле недвижимостью? Правда ли, что Люси собирается ехать на учебу в Штаты? Кто-нибудь прочел повесть, написанную тетей Сарой? Генри действительно женится на Джемиме? (Все эти персонажи вошли в жизнь Хлои задолго до меня и, вероятно, учитывая стойкость всего семейного, останутся в ней, когда меня уже не будет.)

18. Занятно было видеть, насколько восприятие Хлои ее родителями отличалось от моего собственного. В то время как я знал ее уступчивой и великодушной, дома она считалась капризной и с некоторыми командирскими замашками. Ребенком она была маленьким деспотом, которому родители дали прозвище «мисс Помпадоссо» в честь героини детской книжки. Если я знал, что Хлоя вполне адекватна в вопросах карьеры и денег, то ее отец тем не менее заметил, что его дочь «не понимает самых простых вещей, что и как делается в этом мире», а мама шутила, что она «верховодит всеми своими мальчиками». Мне пришлось добавить к своему представлению о Хлое целую часть ее жизни, до того как появился я, когда мое видение ее пришло в противоречие с тем образом, который закрепился в исходном семенном предании.

19. Днем Хлоя провела меня по всему дому. Мы посетили комнату на самом верху, куда она ребенком боялась заходить, потому что ее дядя однажды сказал ей, что в пианино живет привидение. Она провела меня в свою прежнюю спальню, которую теперь ее мама использовала как студию, и показала люк, через который обычно забиралась на чердак, где

уединялась со своим слоненком Гуппи каждый раз, когда ей бывало грустно. Мы прошли по саду, мимо дерева, до сих пор хранившего в самом низу след от удара, когда в него врезалась их машина: однажды Хлоя подговорила брата снять ручной тормоз. Она показала мне соседский дом, чьи ежевичные кусты начисто объедала летом, и сына прежних владельцев, которого однажды поцеловала по дороге из школы.

20. Ближе к вечеру я пошел прогуляться в сад с ее отцом, педантичным человеком, у которого после тридцати лет семейной жизни сформировался характерный взгляд на этот предмет.

— Я знаю, вы с моей дочерью любите друг друга. Я не эксперт в любовных делах, но кое-что все-таки скажу. В какой-то момент я понял, что в конечном итоге все равно, на ком женишься. Если вначале ты ее любишь, то со временем, скорее всего, эта любовь пройдет. Если же все начинается с того, что ты ее терпеть не можешь, всегда остается шанс со временем прийти к мысли, что она не так уж плоха.

21. В тот вечер в поезде по дороге обратно в Лондон я чувствовал себя опустошенным, уставшим от всех различий между прежним миром Хлои и моим. Хотя истории и декорации ее прошлого очаровали меня, при этом они оказались странными и пугающими, все эти годы и привычки, восходившие ко времени до нашего знакомства. Тем не менее они точно так же составляли часть того, чем была она, как и форма ее носа или цвет глаз. Я чувствовал первобытную тоску по знакомому окружению, ощущая на себе разрыв, который ведут за собой всякие новые отношения — целый новый человек, которого нужно узнать, к которому нужно самому приспособиться. Это был, пожалуй, тот момент, когда я испугался при мысли обо всех различиях между нами, которые мне еще предстоит открыть, — мысли, что она навсегда останется одним человеком, а я другим, что наши взгляды на мир так никогда и не придут к соглашению. Глядя из окна поезда на Уилтширское предместье, я, как ребенок, испытывал страстное желание быть с кем-то, кого я бы уже сейчас полностью понимал, шокирующие особенности дома, родителей и предыдущей жизни которого мне были бы уже знакомы и привычны.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЛЮБОВЬ ИЛИ ЛИБЕРАЛИЗМ

1. Если мне будет позволено ненадолго вернуться к туфлям Хлои, я должен буду рассказать о том, как развенчание этой покупки не ограничилось моим, хотя и суровым, но молчаливым приговором. Мне придется признать, что в результате оно вылилось во вторую серьезную ссору за время наших отношений (сопровождаясь слезами, взаимными нападками, шумом и криком), когда правая туфля, разбив стекло, вылетела из окна прямо на мостовую Денбай-стрит. Помимо явного мелодраматизма этой сцены, происшедшее представляет несомненный философский интерес, поскольку символизирует выбор, одинаково принципиальный как в личной сфере, так и в политике: выбор между *любовью и либерализмом*.

2. Часто этим выбором пренебрегают, оптимистически приравнивая два понятия, рассматривая одно как сокращенный вариант другого. Но стоит их объединить, как союз оказывается в высшей степени неудачным, поскольку, по-видимому, невозможно говорить о любви к человеку *и одновременно* предоставлять ему право жить, как он хочет, и наоборот — если нам дают жить, это обычно означает, что нас не любят. Можно сколько угодно удивляться, почему между любящими нередко встречается жестокость, которая была бы трудно переносимой (и даже совершенно неприемлемой) в отношениях между другими людьми, если только это не злейшие враги. Тогда, чтобы перекинуть мост от туфель к народам, мы спросим в ответ: почему государства, где не знают таких слов, как единство или гражданственность, позволяют людям, пусть в изоляции друг от друга, но беспрепятственно существовать? И почему государства, где только и разговоров, что о единстве, любви и братстве, как правило, приходят к тому, что топят в крови свой народ?

3. — Так что, нравятся они тебе? — повторила Хлоя свой вопрос.

— Откровенно говоря, нет.

— А почему?

— Мне просто не нравится такой фасон. Похоже на пеликана.

— Да, но это стильно.

— Вовсе нет.

— Да посмотри на каблук и на бант. Они великолепны.

— Тебе придется долго искать человека, который с тобой согласится.

— Ты так говоришь, потому что ничего не понимаешь в модельной обуви.

— Может быть, но когда я вижу безобразную обувь, я в состоянии это понять.

— Они *не* безобразны.

— Посмотри, Хлоя, они именно *безобразны*.

— Ты просто завидуешь, что я купила новую пару туфель.

— Я только делюсь впечатлением. Мне серьезно кажется, что их не стоит надевать сегодня вечером.

— Прекрасно. Но ради этого, черт возьми, я их и купила!

— Тогда надевай.

— Как я могу теперь их надеть?

— А почему бы нет?

— Потому что ты только что сказал, что я в них похожа на пеликана.

— Похожа.

— И ты хочешь, чтобы я пошла на вечеринку, выглядя как пеликан?

— Не очень. Поэтому я и говорю тебе, что они ужасны.

— Слушай, почему ты никогда не можешь оставить свое мнение при себе?

— Потому что я забочусь о тебе. Если ты купила отвратительные туфли, то *кто-то же* должен сказать тебе об этом! Кроме того, почему такое большое значение имеет то, что я думаю?

— Потому что мне хочется, чтобы они тебе нравились. Я купила их, надеясь, что они тебе понравятся, а теперь ты говоришь, что я буду выглядеть в них как дура. Почему все, что бы я ни делала, обязательно должно быть неправильно?

— Подожди, причем здесь я? Ты прекрасно знаешь, что это не так.

— Это так, тебе даже туфли мои не нравятся.

— Но мне нравится почти все остальное.

— Тогда почему ты не можешь просто закрыть глаза на эти туфли?

— Потому что ты заслуживаешь лучших.

4. Читателя можно избавить от всех подробностей мелодрамы, достаточно сказать, что через несколько минут с неожиданностью торнадо Хлоя в порыве гнева сорвала с ноги одну из отвратительных туфель (предположительно, чтобы дать мне на нее взглянуть). Я со своей стороны (может, это была глупость) счел за лучшее увернуться от летевшего в меня снаряда, и туфля, разбив окно, вылетела на мостовую.

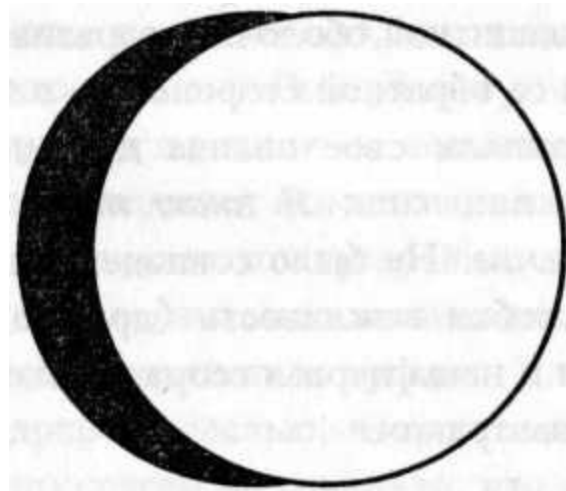
5. Наш спор был сдобрен, словно пряностями, парадоксами любви и либерализма. В самом деле, какая разница, что на Хлое за туфли? В ней было столько привлекательных черт, неужели стоило портить все, привязываясь к этой одной детали? Почему бы мне было не солгать из вежливости, как я солгал бы какому-нибудь своему другу? Меня извиняло единственно то обстоятельство, что я любил ее, что она была моим идеалом — во всем, если не считать туфель, — и потому я чувствовал, что просто не могу не указать на этот единственный недостаток, чего я никогда не стал бы делать в отношениях с другом (во-первых, в нем расхождений с идеалом оказалось бы слишком много; кроме того, мне никогда не пришло бы в голову связывать дружбу с самим понятием идеала).

6. В минуты, когда нами овладевает склонность к идеализации, мы представляем себе романтическую любовь сродни христианской, видя в ней всеобъемлющее чувство, девиз которого — *я буду любить тебя за все, что ты есть*, — любовь, которая не знает условий, не проводит границ, которая готова с восторгом превозносить любую последнюю туфлю, которая сама есть воплощение всепримирения. Но есть основания думать, и любители собак тому отличный пример, что христианская любовь плохо переносит, когда для нее открывают спальню. Очевидно, ее суть гораздо лучше подходит для вселенского обобщения, чем для частного случая: для любви всех мужчин ко всем женщинам, любви двух соседей, которые никогда не будут слушать, как каждый из них храпит во сне.

7. Романтическая любовь не может быть непорочной, она говорит на языке конкретного

тела, ее волнует единственное и неповторимое, а не общее. Иначе говоря, мы влюбляемся в ближнего А потому, что у него (или у нее) улыбка, или веснушки, или смех, или форма суждений, или форма щиколоток такая, какой нет у ближнего В. Иисус обошел этот большой вопрос, отказавшись назвать критерии любви и лишив любовь тем самым большей части ее жестокости. Дело в том, что любовь начинает причинять боль именно из-за критериев, именно когда мы пытаемся превратить ближнего А в ближнего В или превратить ближнего В в идеального В, которого мы создали в своем воображении до женитьбы. Тут и начинают летать туфли, а разводы следуют один за другим. Именно этот разрыв между воображаемым идеалом и действительностью, которая со временем выходит на поверхность, порождает раздражительность, перфекционизм^[28] и в конечном итоге нетерпимость.

8. Хотя и не всегда дело доходило до битья стекол, нужно сказать, что проявление антилиберализма никогда не было односторонним. Напротив, тысяча вещей во мне выводила Хлою из себя: почему я так часто бываю в плохом настроении? Почему я упрямо продолжаю носить пальто, которому на вид все сто лет? Почему я во сне всегда сбрасываю с кровати одеяло? Почему я убежден, что Сол Беллоу^[29] — великий писатель? Почему я до сих пор не научился парковать машину так, чтобы колесо не оставалось на проезжей части? Почему я непрерывно кладу ноги на кровать? Все это было очень далеко от любви, о которой говорится в Евангелиях, оставляющей без внимания безобразные туфли, застрявший между зубами кусочек салата или горячо отстаиваемую, хотя и ошибочную точку зрения относительно авторства «*Похищения локона*»^[30]. И в то же время как раз подобные вещи и превращали жизнь в домашний концлагерь, в ежедневные попытки всеми силами подтянуть другого ближе к готовому представлению о том, какими он или она должны быть. Если вообразить себе идеал и действительность в виде частично пересекающихся кругов (см. ил. 8.1), происходящее предстанет все увеличивающейся площадью несовпадения, которую мы своими ссорами пытались уменьшить, делая из двух кругов один.

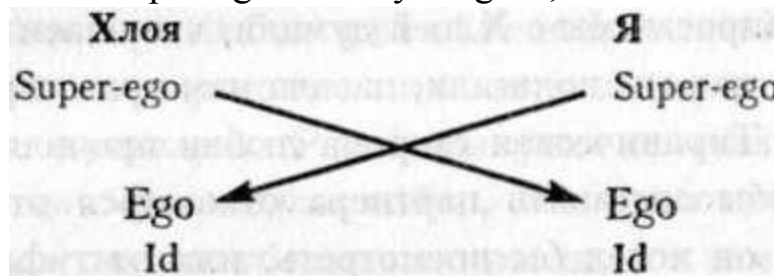


Ил. 8.1

9. Что же могло послужить нам оправданием? Ничего, кроме древней как мир установки, которую берут на вооружение все родители, генералы, экономисты чикагской школы и коммунисты перед тем, как кого-нибудь обидеть: «Я забочусь о тебе, поэтому я намерен обидеть тебя; я удостоил тебя чести и сам придумал, каким тебе следует быть, поэтому я намерен причинить тебе боль».

10. Ни я, ни Хлоя никогда бы не позволили себе такого натиска, будь мы просто друзьями. Друзей разделяет защитная оболочка, состоящая из кода собственности и любезности, оболочка, созданная отсутствием телесного контакта, предотвращающая переход к враждебным действиям. Однако мы с Хлоей больше не практиковали безопасный секс: в том, что мы вместе спали и вместе принимали душ, смотрели друг на друга во время чистки зубов, видели слезы друг друга во время просмотра *слащавого* кино, — во всем этом было нечто, что привело к прорыву защитной оболочки, заразив нас не только любовью, но и ее обратной стороной — злоупотреблением. Мы приравнивали свое знание друг друга к праву собственности, лицензии: *Я знаю тебя, поэтому ты принадлежишь мне*. Не было совпадением, что в хронологии нашей любви вежливость (дружба) закончилась после близости и наша первая ссора вспыхнула на следующее утро за завтраком.

11. Прорыв оболочки открыл пути для беспрепятственного обмена товарами, на которые прежде распространялась монополия, он открыл пути выхода напряжению, в обычной ситуации (слава Богу) разрешающемуся в рамках самокритики. Говоря языком Фрейда, мы вмещивались не только в наше собственное Super-ego — так называемые Ego-конфликты (см. ил. 8.2), — но и в Super-ego другого. Когда пересекаются только ego А и ego В, это рождает любовь: когда Super-ego А атакует ego В, начинают летать туплю.



Ил. 8.2

12. Для того чтобы возникла нетерпимость, необходимы две вещи: во-первых, понятие правильного и неправильного, во-вторых, идея, что нельзя позволить другим жить и не видеть света. Когда однажды вечером мы с Хлоей начали спор о достоинствах фильмов Эрика Ромера^[31] (ей они не нравились, я их любил), мы начисто забыли о возможности, что фильмы Ромера могут быть одновременно и хорошими, и плохими — весь вопрос в том, кто их смотрит. Спор сводился к попыткам заставить другого человека принять свою точку зрения, а не в том, что мы бы пришли к осознанию законности разногласий. Точно так же моя ненависть к туплю Хлои не ограничивалась той здоровой мыслью, что, хотя мне они могли не нравиться, это совсем не означало, что они в принципе не могли понравиться никому.

13. Этот сдвиг от личного к всеобщему и есть переход к тирании, момент, когда личное суждение приобретает статус универсального и начинает применяться к подруге или другу (или ко всем гражданам государства), — момент, когда «Я думаю, что это хорошо» трансформируется в «Я думаю, что это хорошо и для тебя». В некоторых вопросах мы с Хлоей думали, что знаем истину, и эта вера, как мы полагали, давала нам право просвещать другого. Тираническая сторона любви проявляет себя в том, чтобы заставить партнера отказаться от фильма, который он хотел бы посмотреть, или от тупель, которые он хотел бы купить, с целью принять то, что (в лучшем случае) является лишь субъективным суждением,

замаскированным под вселенскую истину.

14. Сравнение любви с политикой может показаться нелепым, но разве мы не встречаем на запятнанных кровью страницах истории Французской революции или фашистских и коммунистических экспериментов ту же самую схему, что и в любви? Разве не то же самое идеальное устройство противостоит здесь расходящейся с ним реальности, рождая нетерпение (нетерпение палача), когда различия растут? Влюбленная политика начинает свою бесславную историю вместе с Французской революцией, когда впервые был выдвинут тезис (наряду со всевозможными формами грабежа), что государство должно не просто управлять, а *любить* своих граждан, которые, как предполагается, должны отвечать ему тем же или идти на гильотину. Начало революций обнаруживает поразительную психологическую близость с началом определенных отношений — подчеркнуто большое значение единства, вера во всемогущество пары (народа), стремление к отказу от прежней самовлюбленности, к разрушению границ собственной личности, желание, чтобы не было больше секретов (боязнь противоположного, вскоре приводящая к паранойе и/или созданию секретной полиции).

15. Но если заря любви и влюбленной политики одинаково окрашены в розовые тона, то и конец может быть одинаково кровавым. Разве мы уже не сталкивались многократно с феноменом любви, оканчивающейся тиранией, когда твердое убеждение правящих в том, что они руководствуются подлинными интересами народа, заканчивается оправданием убийства всех, кто не согласен в это верить? Любовь — постольку, поскольку она является разновидностью веры (она ведь является еще много чем и помимо), — противоположна либерализму, поскольку никакая вера еще не была свободна от склонности вымещать свое разочарование на инакомыслящих и еретиках. Другими словами, когда человек во что-то верит (*патриотизм*, марксизм-ленинизм, национал-социализм), сила этой веры непременно сметает с пути все альтернативы.

16. Несколько дней спустя после истории с туфлями я пошел в ларек за газетой и пакетом молока. Мистер Пол сказал мне, что у него как раз кончилось молоко, но, если у меня есть пара минут, он сходит на склад за другим ящиком. Глядя, как он выходит и поворачивает за угол магазина, я обратил внимание на его толстые серые носки и коричневые кожаные сандалии. Их безобразие бросалось в глаза, но не оскорбляло взгляд и казалось безобидным. Почему я не мог так же отнестись к Хлоиным туфлям? Почему я не смог проявить ту же широту сердца по отношению к любимой женщине, что и к продавцу, у которого покупал свой хлеб насущный?

17. Желание заменить отношение палача к жертве отношением к продавцу газет долгое время владело умами политиков. Почему люди у власти не могут быть корректными в управлении своими гражданами, спокойно воспринимая сандалии, несогласие и раскол? Ответ, который давали либералы, был: сердечность во взаимоотношениях власти и граждан возможна лишь в том случае, если правительство перестанет говорить о правлении во имя *любви* к своим согражданам, а вместо этого сосредоточится на снижении инфляции и наведении порядка на железных дорогах.

18. Безопасная политика нашла своего величайшего апологета в лице Джона Стюарта

Милля^[32], который в 1859 году опубликовал классическую защиту либерализма в отсутствие любви «*О свободе*», громкий призыв к государству попросту оставить граждан в покое (каким бы благонамеренным оно ни было), чтобы от них не требовалось сменить обувь, или читать определенные книги, или мыть уши, или пользоваться зубной нитью. Милль доказывает, что, хотя древнее общество (и тем более робеспьеровская Франция) вменяло себе в обязанность «глубокую заинтересованность в том, чтобы каждый из его граждан был дисциплинирован телесно и умственно», современное государство должно по мере возможности отступать в тень и оставлять своих граждан одних. Как замученный партнер в любовной связи, который умоляет об одном — дать ему побольше пространства, Милль просит государство предоставить граждан самим себе: «Единственная свобода, которая заслуживает названия таковой, есть свобода стремиться к собственному благу теми способами, какими нам покажется нужным, лишь бы мы при этом не покушались на такое же право других и не препятствовали их попыткам обрести его... Единственная цель, ради которой власть может оправданно применить силу по отношению к какому-либо члену цивилизованного общества против его воли, — это чтобы помешать ему причинить вред другому. Его собственное благо, физическое или духовное, не является достаточным основанием».

19. Призывы Милля звучат так разумно, что возникает мысль: а нельзя ли найти применение им и в личной сфере? Однако применительно к человеческим отношениям его взгляды, к сожалению, теряют значительную долю своей привлекательности. Приходят на память некоторые зачерстневшие от времени браки, где любовью уже давно и не пахнет, где у каждого своя спальня, где обмениваются случайной парой слов, когда сталкиваются на кухне перед работой. В таких браках оба партнера уже давно оставили надежду прийти к взаимопониманию, построив вместо этого отношения на теплой дружбе, основанной на контролируемом непонимании — вежливость во время совместного поедания картофельной запеканки за ужином и горечь в предрассветные часы, когда особенно остро ощущается эмоциональный вакуум, в котором проходит их жизнь.

20. Мы снова вернулись к необходимости выбирать между любовью и либерализмом, — *выбирать*, потому что либерализм кажется реальным спасением только в общении на расстоянии или когда в отношениях уже пустило корни безразличие. Сандалии продавца газет не вызвали у меня досады, потому что мне было наплевать на продавца газет, я хотел получить от него свое чтиво и молоко, и ничего больше. Я не испытывал потребности ни излить ему душу, ни выплакаться на его плече, поэтому его обувь не казалась мне оскорбительной. Но если бы я влюбился в мистера Пола, мог бы я продолжать спокойно смотреть на эти сандалии или, напротив, настал бы момент, когда (из любви) я прокашлялся бы и предложил поискать им замену?

21. Если в наших отношениях с Хлоей дело никогда не доходило до террора, то это, вероятно, потому, что мы умели смягчать выбор между любовью и либерализмом при помощи составляющей, которой располагает, увы, слишком небольшое число пар и которой во все времена располагало, пожалуй, еще меньше «влюбленных» политиков (Ленин, Пол Пот, Робеспьер). Эта составляющая могла бы (будь она в достаточном количестве) явиться спасением и для государств, и для пар перед лицом нетерпимости. Я говорю о чувстве

юмора.

22. Видимо, не случайно революционеры имеют общее с любовниками желание быть всегда подчеркнута серьезными. Одинаково трудно представить себе, как можно было бы пошутить в обществе Сталина и в обществе Юного Вертера — настолько они оба напряжены, хотя и по-разному, но в равной мере безнадежно. А с неспособностью к смеху приходит неспособность признать относительность всех вещей, внутреннюю противоречивость общества и человеческих отношений, множественность и постоянный конфликт желаний, — необходимость смириться с тем, что твой партнер никогда не научится парковать машину или ополаскивать после себя ванну или что ему никогда не перестанет нравиться Джони Митчелл, — но при этом все же любить его.

23. Если мы с Хлоей могли переступить через некоторые из наших разногласий, то лишь благодаря тому, что у нас было желание обращать в шутку тупики, на которые мы натыкались в характерах друг друга. Я не мог перестать ненавидеть Хлоины туфли — ей они по-прежнему нравились; я любил ее, но (после того, как заделали окно) мы, по крайней мере, нашли силы над этим посмеяться. Стоило обстановке начать накаляться, один из нас всегда мог заставить другого рассмеяться, пригрозив «дефенестрацией»^[33], и таким образом предотвратить скандал. Мои навыки вождения невозможно было исправить, но они получили прозвание «Ален Прост»^[34]; периодические Хлоины прогулки-изуверства я считал тяжким бременем, пока мне не стало легче с выдуманной мною же идеей подчиняться ей как «Жанне д'Арк». Юмор делал излишней прямую конфронтацию: можно было вскользь коснуться того, что раздражало, исподволь кивнув на него, критикуя, но без необходимости *облечь критику в слова* («Этой шуткой я даю тебе понять, что я очень не одобряю *x*, в то же время мне не нужно тебе об этом говорить — твой смех свидетельствует, что ты принимаешь замечание к сведению»).

24. Когда два человека больше не способны переводить свои несогласия в шутку, это означает, что они перестали любить друг друга (или, по крайней мере, перестали совершать над собой усилие, что составляет девяносто процентов любви). Стену раздражения между нашим идеалом и реальностью юмор как бы обил мягкой тканью: за каждой шуткой стояло указание на несовпадение, даже на разочарование, но именно она-то и лишала это несовпадение его боевого запала — благодаря шутке его удавалось преодолеть, не прибегая к погрому.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

КРАСОТА

1. Красота рождает любовь или любовь рождает красоту? Любил ли я Хлою, потому что она была прекрасна, или она была прекрасна, потому что я любил ее? В окружении бесчисленного множества людей мы можем задаться вопросом (глядя на любимого человека, когда он говорит по телефону или лежит в ванне): почему наше желание избрало своим пристанищем именно это конкретное лицо, этот конкретный рот, или нос, или ухо, почему этот изгиб шеи или ямочка на щеке так точно соответствовали нашим требованиям к совершенству? Каждый новый человек, в которого мы влюбляемся, предлагает свои решения проблемы красоты, и все же ему удается настолько изменить характер нашей любовной эстетики, что она предстает столь же оригинальной и противоречивой, как ландшафт его лица.

2. Если Марсилио Фичино^[35] определял любовь как «желание прекрасного», то каким образом Хлоя удовлетворяла это желание? Послушать ее, абсолютно никаким. Никакие уверения не могли убедить ее в том, что ее внешность можно расценивать иначе чем чудовищно безобразную. Она упорно считала свой нос слишком маленьким, свой рот слишком широким, подбородок маловыразительным, уши слишком круглыми, глаза недостаточно зелеными, волосы недостаточно волнистыми, грудь слишком маленькой, ноги слишком большими, руки слишком крупными и запястья слишком узкими. Она могла с тоской разглядывать лица на страницах «Elle» и «Vogue» и при этом заявлять, что если у Бога и была какая-то идея, когда он ее создавал — в смысле ее физического облика, — то это была разве что идея непоследовательности.

3. Хлоя полагала, что красоту можно измерить, сообразуясь с объективным стандартом, которого ей попросту не удалось достичь. Сама того не сознавая, она была решительным приверженцем платоновского представления о красоте, взгляда на эстетику, который она разделяла с издателями популярных во всем мире журналов и который постоянно подогревал ее дежурное отвращение к себе, когда она каждый день смотрелась в зеркало. Согласно Платону и редактору «Vogue», существует такая вещь, как идеальная форма красоты, плод уравновешенного соотношения отдельных частей, на которую земные тела могут быть похожи в большей или меньшей степени. Все, что мы оцениваем как прекрасное, говорил Платон, причастно этой сущностной форме красоты и потому должно соответствовать универсальным характеристикам. Возьмите прекрасную женщину, и вы увидите, что в основе ее красоты лежит точно такой же точный математический расчет, то же безупречное равновесие частей, какое положено в основу классического храма. Лицо на обложке журнала, предположил бы Платон, принадлежит к числу лиц, наиболее близко приближающихся к идеалу красоты (и Хлоя именно поэтому боготворила их. Я до сих пор вижу, как она сидит на кровати, сушит волосы и одновременно листает страницы, кривя лицо в подражание беспечному выражению моделей). Хлоя стеснялась того, что нос ее не соответствовал величине губ. Нос у нее был маленький, а рот большой, и это с точки зрения эстетики Платона лишало гармонии самый центр ее лица. Платон говорил, что только когда элементы соразмерны, может возникнуть надлежащее равновесие, придающее предмету

динамическую неподвижность и самодостаточность, а ведь именно этого и не хватало. Если Платон утверждал, что только «качества меры (metron) и пропорции (symmetron) неизменно образуют прекрасное и превосходное», то лицо Хлои неизбежно оказывалось лишенным и красоты, и превосходства.

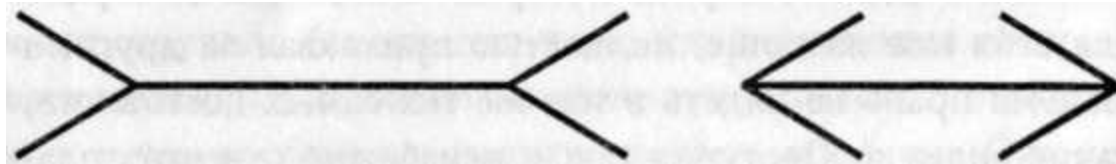
4. Считая свое лицо лишенным соразмерности, Хлоя и все остальное тело находила даже еще более непропорциональным. Я любил наблюдать, когда мы вместе принимали душ, как мыльная пена стекает по ее животу к ногам, а она, всякий раз, смотрясь в зеркало, неизменно заявляла, что что-то «перекошено» — правда, что именно «перекошено», я так до конца и не понял. Леон Баттиста Альберти^[36], возможно, сумел бы понять это лучше меня, поскольку он полагал, что прекрасное тело имеет четкие, раз и навсегда определенные пропорции, которые скульпторы должны хорошо знать. Он определил эти пропорции, выделив для этого в теле шестьсот сочленений; для каждого из них Альберти разработал идеальное соотношение частей. В своей книге «О скульптуре» он определил красоту как «не зависящую от рассматриваемого объекта гармонию всех частей, которые подогнаны одна к другой настолько связно и соразмерно, что ничто не может быть ни увеличено, ни уменьшено, ни изменено иначе как к худшему». Тем не менее если говорить о Хлое, то практически любую часть ее тела можно было или увеличить, или уменьшить, или изменить, не боясь, что это действие испортит что-то, что еще не было бы окончательно загублено самой природой.

5. Однако ясно, что чего-то Платон и Леон Баттиста Альберти (как бы ни были логичны их рассуждения) в своей эстетической теории все-таки не учли, иначе почему я находил Хлою такой потрясающе красивой? Мне сложно сказать, что именно делало ее в моих глазах столь привлекательной. Нравились ли мне ее зеленые глаза, ее темные волосы, ее полные губы? Не знаю, наверное, поскольку вообще трудно словами объяснить привлекательность одного человека и непривлекательность другого. Я мог бы вспомнить о веснушках у нее на носу или упомянуть изгиб шеи, но насколько убедительно прозвучало бы это для того, кто не находил ее привлекательной? В конце концов, красота есть нечто такое, в чем вообще невозможно кого-то *убедить*. Она не похожа на математическую формулу, применив которую можно подвести кого-либо к безусловно правильному результату или самому прийти к нему. Спор о привлекательности мужчин и женщин сродни спорам между искусствоведами, когда они пытаются объяснить, чем одна картина лучше другой. Ван Гог или Гоген? Единственная возможность у каждого доказать свою правоту состоит в попытке еще раз передать нарисованное посредством языка («лирическая мудрость южного неба и моря у Гогена...» против «вагнеровской глубины синего цвета у Ван Гога...»), или еще один путь — разъяснение технических приемов и свойств материала («чувство экспрессии у позднего Ван Гога...», «Гогенова линейность^[37], которая роднит его с Сезанном...»). Но неужели все это действительно может помочь объяснить, почему одна картина *работает*, производит впечатление, от ее красоты перехватывает дыхание? И если так сложилось, что художники по традиции с презрением относятся к искусствоведам, идущим за ними по пятам, то это, возможно, происходит не от снобизма наоборот, а потому, что язык живописи (язык красоты) нельзя втиснуть в слова.

6. Все это сводится к следующему: я мог бы в конечном итоге надеяться описать не

красоту, а лишь свое собственное субъективное впечатление от Хлоиной внешности. Это не была бы претензия на то, чтобы создать эстетическую теорию универсальной значимости: я лишь смог бы выделить черты, которые своевольно избрало для себя мое желание, полностью признавая за другими людьми право не видеть в том же тех самых достоинств, какие видел я. Поступая так, я неизбежно отвергал платоновскую идею существования объективного критерия красоты, вместо того принимая сторону Канта, писавшего в «Критике разума», что суждения в области эстетики относятся к таким, «определение которых не может иметь иного основания, кроме субъективного».

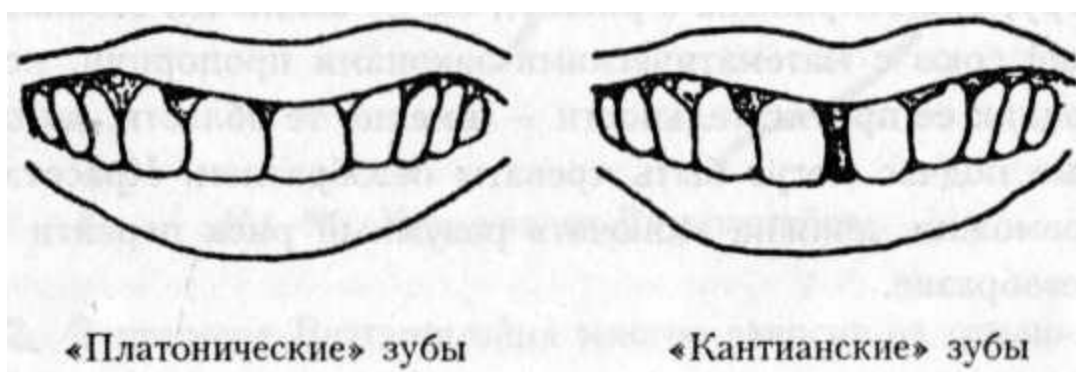
7. Кантианский взгляд на эстетику предполагает, что пропорции тела в конечном итоге не так важны, как его субъективное восприятие. Как же еще можно объяснить, что одно и то же тело может расцениваться одним человеком как прекрасное, а другим — как безобразное? Феномен красоты, помещенный в глазу зрителя, можно сопоставить со знаменитым оптическим обманом Мюллера-Лайера (см. ил. 9.1), когда два одинаковых по длине отрезка кажутся разными благодаря разнонаправленным стрелкам, пририсованным к их концам. Если длину уподобить красоте, то, как я смотрел на Хлою, оказывало то же действие, что и стрелки на концах отрезков: то, что выделяло лицо Хлои среди других, делало его более красивым (длиннее), чем какое-нибудь другое, объективно могущее показаться почти таким же. Моя любовь была наподобие стрелок, которые находятся на концах отрезков — одинаковых, но производящих, пусть ложное, впечатление различия.



Ил. 9.1. Иллюзия Мюллера-Лайера

8. Знаменитое определение красоты, принадлежащее Стендалю, который утверждал, что красота — это «обещание счастья», очень далеко от строгости платоновской идеи о совершенном соотношении частей. Хлоя, возможно, не обладала классическим совершенством, но она была прекрасна, несмотря на это. Сделала она меня счастливым, потому что была красива, или она была красива, потому что сделала меня счастливым? Это был замкнутый круг: я находил Хлою прекрасной, в то время как она делала меня счастливым, и она делала меня счастливым, будучи прекрасна.

9. И все же если в моей склонности и было что-то особенное, так это то, что она основывалась не на обычных целях желая, а скорее как раз на тех чертах, которые могли быть сочтены несовершенными кем-то, кто бы смотрел на Хлою с позиций Платона. Я испытывал своеобразную гордость, выбирая объектом своего желания проблемные черты ее лица, точнее говоря, те его области, на которых у других не задерживался взгляд. Например, я не рассматривал щель между ее передними зубами (см. ил. 9.2) как досадное отклонение от идеального устройства, напротив, я видел в ней оригинальное и в высшей степени привлекательное переопределение зубного совершенства. Я не был просто равнодушен к этой щели между зубами, я воспринимал ее положительно и восхищался ею.



Ил. 9.2.

10. Я обожал таинственность, трудность своего желания, сам факт того, что никто и предположить не мог, какую важность имеют для меня Хлоины зубы. В глазах платоника она никогда не стала бы красивой, в каком-то смысле ее даже можно было бы считать безобразной, но это значит, что в ее красоте имелось что-то, чего не хватало совершенному, с точки зрения Платона, лицу. Красоту следовало искать в области колебаний между безобразием и классическим совершенством. Лицо, заставляющее спустить на воду тысячи кораблей, не всегда соответствует строгим правилам архитектуры: оно может быть так же непостоянно, как объект, непрерывно колеблющийся между двух цветов, в результате чего возникает третий, промежуточный, цвет, существующий, пока продолжается движение. Совершенству свойственна своего рода тирания, даже ограниченность, если угодно, нечто отрицающее участие зрителя в своем создании и утверждающее себя со всем догматизмом неопровержимого суждения. Красота не может быть измерена, потому что она постоянно изменяется, существует лишь небольшое число углов зрения, под которыми ее можно видеть, а значит, не при всяком освещении и не во всякое время. Она играет с безобразием в опасную игру, она сопряжена с риском, ею не заключен безопасный союз с математическими законами пропорции, источник ее притягательности — именно те области, которые подчас могут быть чреватые безобразием. Красота, возможно, должна включать разумный риск перейти в безобразие.

11. Пруст однажды сказал, что классически прекрасных женщин следует оставить для мужчин, лишенных воображения, и возможно, что щель между Хлоиными зубами казалась мне такой притягательной именно из-за того, что возбуждала мое воображение. Воображению доставляло удовольствие играть с этим небольшим пространством, уменьшать его, снова увеличивать, побуждать язык заглянуть в него. Эта щель позволяла мне участвовать в упорядочении строения Хлоиных зубов: ее красота была достаточно подпорчена, чтобы можно было предложить некоторые усовершенствования. Поскольку ее лицо располагало достаточным материалом и для красоты, и для безобразия, моему воображению предоставлялось самому держаться едва заметной нити, ведущей к красоте. В своей двусмысленности лицо Хлои напоминало утку-кролика Витгенштейна (см. ил. 9.3), в котором оба, утка и кролик, казалось, слились в одном изображении, — почти как в Хлоиных чертах, казалось, слились два лица.



Ил. 9.3. Утко-кролик Витгенштейна

12. В примере Витгенштейна многое зависит от отношения зрителя: если воображение ожидает увидеть утку, оно найдет утку, если оно ищет кролика, появится кролик. Рисунок дает достаточный материал для обоих, так что единственное, что имеет значение, — это предрасположенность, настрой зрителя. Тем, что заставляло меня видеть прекрасный образ Хлои (а не утку), была, конечно, любовь. Я чувствовал, что эта любовь самая что ни на есть подлинная, потому что она избрала своим предметом лицо отнюдь не безукоризненное. У редактора «*Vogue*», наверное, возникли бы проблемы с включением фотографий Хлои в очередной выпуск журнала, но, силой иронии, это лишь усиливало мое желание, поскольку я видел в этом подтверждение той неповторимости, которую лишь я один сумел в ней разглядеть. Разве оригинально назвать прекрасным человека, сложенного в соответствии с классическими пропорциями? Безусловно, труднее, — безусловно, больше воображения, о котором говорил Пруст, требуется, чтобы поместить красоту в щель между зубами. Найдя Хлою прекрасной, я не основывался на очевидном, — я, наверное, смог увидеть в ее чертах то, что оставалось недоступно для других: я оживил ее лицо, увидев в нем отражение ее души.

13. Опасность, скрытая в красоте, отличной от красоты греческой статуи, состоит в том, что ее ненадежность делает зрителя более важным. Стоит воображению не последовать за щелью между зубами — разве можно тогда обойтись без хорошего стоматолога? Стоит нам поместить красоту в глаз смотрящего, что произойдет, когда зритель станет смотреть куда-то еще? Но возможно, все это было частью Хлоиноного очарования. Субъективная теория красоты делает наблюдателя волшебным необходимым.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ГОВОРЯ О ЛЮБВИ

1. В середине марта Хлоя праздновала свой двадцать четвертый день рождения. Она уже давно закидывала удочку насчет красного пуловера за стеклом магазина на Пиккадилли, поэтому вечером накануне я задержался по дороге с работы и купил его ей, попросив завернуть в голубую бумагу с розовым бантом. Но когда я готовил открытку, чтобы сопроводить подарок, то вдруг сообразил, застыв над бумагой с ручкой в руке, что до сих пор ни разу не говорил Хлое, что люблю ее.

2. Такое признание само по себе вряд ли явилось бы неожиданностью (особенно в сопровождении красного пуловера), но все же то, что оно прежде не было сделано, имело значение. Пуловеры могут служить знаком любви между мужчиной и женщиной, но мы тем не менее должны, помимо вязаного трикотажа, переводить их еще и на язык слов. Сейчас все выглядело так, как если бы сущность наших отношений, сконцентрированная вокруг понятия *любовь*, каким-то образом ускользала от словесного выражения, то ли потому что не была достойна упоминания, то ли, напротив, будучи слишком важна, чтобы мы нашли время облечь ее в слова.

3. Проще было понять, почему ничего не говорила Хлоя. Она вообще относилась к словам с подозрением. «Разговорами можно внести проблемы в свою жизнь», — заявила она однажды. Язык мог смоделировать проблемы, и любовь тоже могла быть им разрушена. Я вспомнил историю, которую она рассказала. Когда ей было двенадцать, родители отправили ее на каникулы в молодежный лагерь. Там она безумно влюбилась в мальчика своего возраста, и после многочисленных колебаний и смущения они в конце концов отправились вдвоем на прогулку вокруг озера. У скамейки в тени мальчик предложил ей присесть и спустя минуту взял ее влажную ладонь в свои. Первый раз в жизни мальчик держал ее за руку. Она так обрадовалась, что просто не могла не сказать ему (со всей откровенностью двенадцати лет), что «ничего лучше, чем он, до сих пор с ней не случилось». Но ей не следовало этого говорить. На следующий день оказалось, что ее слова известны всем в лагере, ее глупое в своей откровенности заявление обернулось насмешкой над ее ранимостью. Ей пришлось на себе испытать, как язык может сделаться орудием предательства, как сокровенные слова могут превратиться в разменную монету, а потому с тех пор вместо слов она доверяла телу, предпочитая жест фразе.

4. Хлоя с ее обычной сдержанностью к розовым тонам, скорее всего, не приняла бы объяснения в любви, ответив шуткой, — не потому, что ей не хотелось слушать об этом, а в силу того, что всякая формулировка показалась бы ей опасно близкой одновременно и к потертому клише, и к тотальной обнаженности. Это не означало, что Хлоя была лишена сентиментальности, просто она привыкла быть слишком сдержанной по части эмоций, опасаясь высказывать их на общеупотребительном, расхожем языке *романтики* (опосредованная любовь). Хотя я и мог стать объектом ее чувств, некоторым любопытным образом *мне не полагалось знать о них*.

5. Моя ручка все еще была занесена в нерешительности над поздравительной открыткой (рисунок изображал жирафу, задувающую свечки), а я чувствовал, что, несмотря на все упорство Хлои, день рождения (при всей абсурдности того трепета, с которым принято относиться к чьему-то появлению на свет) — удачный повод для лингвистического подтверждения уз, связывавших нас. Я попытался представить, как поступит она с пакетом, который я вручу ей, — не с красным пуловером, а с пакетом слов, которые говорят о любви. Я попытался представить себе ее одну в метро по дороге на работу, или в ванне, или на улице, как она открывает пакет, где и когда ей будет удобно, и старается уяснить себе, что имел в виду любящий ее человек, даря ей такие любопытные вещи.

6. Затруднительность объяснения существовала независимо от обычных трудностей при коммуникации. Если бы я сказал Хлое, что у меня боли в животе, или что у меня красная машина, или сад, полный нарциссов, я мог бы рассчитывать на то, что она поймет. Естественно, сад с нарциссами, как я его себе представлял, мог слегка отличаться от сада ее представлении, но между двумя образами имелось бы разумное соответствие. Слова, преодолевая разделявшее нас расстояние, сработали бы как надежные посредники в передаче смысла, и письмо дошло бы по назначению. Но открытка, которую я пытался написать, не давала на этот счет никаких гарантий. Именно эти слова были самыми двусмысленными словами в языке, поскольку то, что они обозначали, самым плачевным образом было лишено устойчивого смысла. Конечно, путешественники возвратились из сердца и пытались передать, что они увидели там, однако именно это слово не находилось ни на какой фиксированной широте: у него не было точных координат, это была бабочка редкой расцветки, так окончательно и не отождествленной.

7. Мной владела единственная мысль: а что, если это слово будет истолковано превратно? Дело тут не в педантизме — для влюбленных, поневоле вынужденных общаться через переводчика, это был вопрос отчаянной значимости. Мы оба могли сказать о себе, что любим, но в то же время сам факт наличия любви каждый из нас мог расценивать совершенно по-разному. Отправить послание со словами любви было все равно что выпустить снаряд, начиненный кодированным сообщением при неисправном пусковом механизме, без тени уверенности в том, каким оно будет получено (и тем не менее отправлять сообщение было необходимо, — так одуванчик рассеивает по ветру множество семян, только небольшой части которых предстоит дать росток; оптимистический выстрел наугад — попытка телекоммуникации, вера в почтовую службу).

8. Язык был единственным мостом, который я мог перебросить через разделявшее нас расстояние. Дойдет ли до нее смысл, который я попытался вложить в это дырявое решето? Какая часть моей любви сохранится, когда оно достигнет ее? Пусть между нами состоялся бы диалог на языке, который казался бы общим, — впоследствии, однако, выяснилось бы, что слова, оказываясь, черпали силу в разных источниках. Нередко по вечерам мы читали в одной постели одинаковые книги, чтобы потом убедиться: нас задела за живое разные эпизоды, для каждого получилась своя книга. Так неужели та же несхожесть не могла проявить себя и в одной строке, говорящей о любви?

Мое сердце >>> - Л - ю - б - о - в - ь -> Ее сердце
ЯЗЫК

9. Впрочем, и слова не полностью мне подчинялись. До меня они уже побывали в руках множества людей, я вошел в язык по рождению (хотя и позже, чем появился на свет), не я изобрел эту болезнь — однако здесь в самой неоригинальности крылись не только проблемы, но и преимущества. Преимущества, поскольку существовала некая общепризнанная область, издавна выделенная как имеющая отношение к любви. Пускай мы могли не сходиться в том, что именно чувствовал каждый по отношению к другому, мы с Хлоей были все же достаточно прилежными учениками, чтобы понимать, что любовь — это не ненависть, и чтобы опознать страну, в которую отправляются звезды Голливуда, когда разделяются со своим мартини и произносят ее название.

10. У каждого из нас восприятие любви было пропитано жидкостью из социального тюбика романтики. Когда я дни напролет грезил о Хлое, в этих мечтах неизбежно присутствовал элемент карамельно-сладкого воспоминания о ста одном объятии, виденном на экране. Строго говоря, я не просто любил Хлою, я одновременно участвовал в каком-то социальном ритуале. Когда в машине я слушал по радио новые песенки о любви, моя любовь разве не сливалась без всякого усилия с моей стороны с рвущимся в облака голосом певца, разве я не находил в чужом вдохновенном тексте Хлою?

*Не в этом ли счастье,
Держать тебя в объятиях,
Любить тебя, детка?
Держать тебя в объятиях,
О-о-йе-е, и любить тебя, детка?*

11. Любовь не обладает свойством объяснять сама себя, она всегда *истолковывается* культурой, в которой мы празднуем свой день рождения. Откуда мне было знать, что мое чувство к Хлое — именно *любовь*, если бы другие не подтолкнули меня к ответу? То, что я в машине отождествлял себя с певцом, само по себе не означало внезапного осознания этого явления. Если я понял, что люблю, то разве не было это простым результатом жизни в данную культурную эпоху, которая при первой возможности выискивала и боготворила валяющее дурака сердце? Разве с моей стороны это было вызвано дообщественным импульсом, а не общество, наоборот, явилось мотивирующим фактором? В прежних культурах и веках разве не был бы я научен не обращать внимания на свои чувства к Хлое (так же как в теперешней жизни меня приучили не поддаваться соблазну носить чулки или отвечать на оскорбление вызовом на дуэль)?

12. «Некоторые люди никогда не полюбили бы, если бы никогда раньше не слышали о любви», — сказала однажды арошфуко, и не доказала ли история его правоту? Я обещал повести Хлою в китайский ресторан в Кэмдене, но это место, как могло бы показаться, меньше всего подходило для объяснений в любви, учитывая, какое скромное место в китайской культуре традиционно занимала любовь. Как пишет социальный психолог Фрэнсис Сю, если культуры Запада «индивидуоцентричны» и на первое место выдвигают эмоции, то китайская культура, напротив, «ситуоцентрична» и концентрируется вокруг

сообществ, а не вокруг пар и их любви (хотя менеджер «Лао-цзы» с удовольствием принял мой заказ). Любовь никогда не выступает как данность, она создается и определяется различными обществами. По меньшей мере, в одном обществе — у племени ману с Новой Гвинеи — нет даже слова, которое бы обозначало любовь. В других культурах любовь присутствует, но принимает специфические формы. Любовная поэзия древних египтян обходит молчанием чувства стыда, вины или противоречивости. Греки не знали проблемы гомосексуальности, средневековые христиане отвергали тело и эротизировали душу, трубадуры приравнивали любовь к неразделенной страсти, эпоха романтизма возвысила любовь до религии, а вот состоящий в счастливом браке С.М. Гринфилд в «Сосиолоджикал куотерли» пишет, что любовь сегодня поддерживается в живых современным капитализмом только потому, что она

«мотивирует индивидов — в отсутствие других средств мотивации — занять позицию мужа-отца или жены-матери и формировать семьи-ячейки, которые суть не только необходимое условие продолжения рода и существования общества, но также и поддержания имеющегося порядка распределения и потребления товаров и услуг и вообще сохранения в рабочем состоянии социальной системы подобно действующему механизму».

13. Антропология, как и история, полна отклонений (а значит, и ужаса для тех, кто отстоит во времени), когда речь заходит о взаимоотношениях полов. В Англии времен королевы Виктории женщину, занимавшуюся мастурбацией, могли счесть ненормальной и посадить в сумасшедший дом. На Новой Гвинее существовало поверье, что «зрелость» воплощена в сперме, и был обычай ритуального поедания семени молодыми мужчинами. В деревне Иви (Новая Гвинея) одно время даже было принято есть пенисы убитых мужчин, чтобы перенять их силу. Девочкам племени мангаев специально растягивали клиторы, тогда как у масаи девочке, достигшей половой зрелости, вырезали клитор и малые губы, чтобы, как объяснялось, «удалить детскую грязь». Смешение полов встречалось у американских индейцев: у некоторых племен мужчины, взятые в плен, входили в дома победителей на положении жен.

14. Общество, как хороший магазин канцелярских товаров, снабдило меня набором этикеток, которые следовало наклеить на различные виды сердечного трепета. Слабость, дурнота и страстное желание, которые я ощущал подчас при мысли о Хлое, мое общество сохраняло зарегистрированными под литерой «л», но стоило пересечь океаны или века, как ящик для хранения мог оказаться другим. Разве нельзя было в моих симптомах увидеть знаки божественного явления, вирусной инфекции или даже приступа сердечной недостаточности (отнюдь не в иносказательном смысле)? В рассказе святой Терезы Авильской (1515–1582), основательницы ордена Босых кармелиток, о том, что современные психотерапевты назвали бы сублимированным оргазмом, описывается переживание любви Господней через явление ангела — мальчика, который был

«...очень красивым, его лицо светилось так, что он казался одним из ангелов самого высокого чина, которые, наверное, целиком состоят из огня... В его руках я увидела золотое копьё, на острие наконечника которого, казалось, виднелся огонь. Я ощутила, как этим копьём он несколько раз пронзил мне сердце, так что копьё всякий раз вонзалось в мои

внутренности... Боль была такой, что я не смогла удержаться от стонов; и такое блаженство доставляла мне эта невыносимая боль, что вряд ли кто-то добровольно отказался бы от нее или душа его удовольствовалась бы чем-нибудь меньшим, чем Бог».

15. В конце концов я решил, что открытка с жирафой не лучший способ, чтобы сказать о своей любви, и что правильнее будет подождать до ужина. Я заехал на квартиру к Хлое в восемь, чтобы забрать ее и вручить подарок. Она обрадовалась тому, что я не пропустил мимо ушей ее намеки перед витриной на Пиккадилли. Единственное сожаление (тактично выраженное мне лишь несколько дней спустя) было вызвано тем, что я выбрал синий, а не красный, на который показывала она (впрочем, имея на руках товарный чек, дело еще можно было поправить).

16. Большой романтики, чем в этом ресторане, нельзя было пожелать. Все окружение в «Лао-цзы» — пары, очень похожие на нас (хотя чувство собственной неповторимости и не позволяло нам так думать), держались за руки, пили вино и неумело орудовали палочками.

— Мне, слава Богу, стало лучше, — наверное, я хотела есть. Весь день такая ужасная депрессия, — сказала Хлоя.

— Почему?

— Со мной так всегда бывает в дни рождения. Они напоминают мне о смерти, а нужно веселиться. Сегодня, кажется, все закончится не так плохо, как всегда. Нет, правда, все хорошо, спасибо небольшому участию моего друга.

Хлоя взглянула на меня и улыбнулась.

— Знаешь, где я была в этот день в прошлом году? — спросила она меня.

— Нет, а где?

— На ужине с моей кошмарной тетей. Это было ужасно, я все время должна была бегать в туалет, чтобы выплакаться. Я чувствовала себя такой несчастной, что в день рождения только она и пригласила меня, со своей ужасной привычкой безостановочно твердить мне, что она просто не понимает, как такая красивая девушка, как я, не может найти себе мужика, — и это ее надоедливое заикание! Так что, в общем, наверное, неплохо, что я встретила тебя...

17. Она на самом деле очаровательна (думал влюбленный на вершине субъективизма). Но как сказать ей об этом так, чтобы она поняла особую природу моей склонности? Обычные слова — *любовь*, *привязанность* или *страсть* — потеряли силу, обремененные огромным числом следовавших за ними романов, наслоениями, оставленными на них множеством прибежавших к ним людей. Именно теперь, когда я больше всего нуждался в языке оригинальном, личностном и абсолютно приватном, я столкнулся с непоправимой публичностью естества сердечного языка.

18. Ресторан здесь не мог помочь, поскольку его романтическая атмосфера делала любовь слишком подозрительной, а значит, неискренней. Романтика ослабляла связь между намерением автора и языком, обозначаемое в любую секунду грозило изменой (особенно когда через динамики раздались звуки *ноктюрнов* Шопена, а на столике между нами зажгли свечу). Передать сообщение *любовь* через слово Л-Ю-Б-О-В-Ь казалось абсолютно невозможным: в ту же корзину исподволь попадали самые что ни на есть пошлые

ассоциации. Мои чувства нуждались в их идентификации со словом Л-Ю-Б-О-В-Ь, но, как я ни старался, в этом слове было слишком много добавочных смыслов: что угодно, начиная от трубадуров и заканчивая «Касабланкой»^[38], попользовалось от этих букв.

19. Всегда есть искушение полениться, иначе говоря, *процитировать*. Я мог бы взять общедоступный Словарь готовой любви, полный затасканных выражений на любой случай, отвратительный в своей лживости и слащавости. И все же в самой идее цитирования было что-то отталкивающее, все равно что спать на чужих грязных простынях. Разве не должен был я самолично явиться автором собственных слов о любви? Разве мое признание не должно было быть таким же неповторимым, как сама Хлоя?

20. Чем говорить самому, всегда легче цитировать других; проще прибегнуть к Шекспиру и Синатре, чем рискнуть опробовать собственное хриплое горло. Рождаясь «в язык», мы естественным образом перенимаем у других и приемы его использования, делая себя частью истории, которая не есть наша собственная. Для влюбленных, которым кажется, что в своей любви они заново изобретают мир, здесь кроется опасность неминуемого столкновения с историей, предшествовавшей их соединению (будь то собственное их прошлое или прошлое общества). Всякое мое движение, вызванное к жизни любовью, появилось на свет гораздо раньше, чем мы встретились, — всегда были другие дни рождения; возможности первого признания не существовало никогда (даже двенадцатилетняя Хлоя у озера уже была вовлечена в это, пусть пока только через фильмы). Так же точно, как и занятия любовью, слова любви оставили во мне что-то от всех тех, с кем я когда-либо спал.

21. Любое слово, любое движение несли на себе след других людей. В моей еде и в моих мыслях — во всем был привкус чужого. Где я хотел, чтобы была одна только Хлоя, туда возмутительным и незаконным образом вмешивалась культура: *мужчина и женщина, влюбленные, день рождения в китайском ресторане, вечер на Западе где-то в конце двадцатого века*. Я в смущении чувствовал, с каким скрежетом моя неповторимая индивидуальность стирается о светские условности. Теперь я понимал ненависть Хлои к дням рождения, случайность того, что мы оба оказались на движущейся ленте конвейера культуры. Желание подталкивало меня оставить прямолинейность и искать метафору. Мое сообщение никогда не совершит этот путь в слове Л-Ю-Б-О-В-Ь. Для него предстояло подыскать другое средство передвижения, может быть, лодку, которая была бы слегка деформирована, вытянута или сужена, или еще лучше — невидима — слово, которое не назовет прямо *этот предмет*, — так одинаково лучше говорить о таинстве любви и о таинстве еврейского Бога.

22. Тут я обратил внимание на небольшую тарелку с зефирчиками, стоявшую рядом с Хлоей, возле ее локтя. Необъяснимым с точки зрения семантики образом вдруг показалось очевидным, что я не столько *люблю* Хлою, сколько *зефирю* ее. Я никогда не узнаю, что такого заключалось в зефире, что так внезапно в точности совпало с моими чувствами к ней. Это слово, показалось мне, передавало самую сущность моего состояния с точностью, на которую слово «любовь», отягощенное всеми злоупотреблениями, никак не могло рассчитывать. Еще труднее объяснить то, что, когда я взял Хлою за руку и, подмигнув

Богарту^[39] и Ромео, сказал, что должен сообщить ей что-то очень важное: что я *зефирю* ее, она, по-видимому, прекрасно все поняла, ответив, что ничего слаще ей за всю жизнь никто не говорил.

23. С тех пор, по крайней мере для нас с Хлоей, любовь перестала быть просто *любовью*, она стала сахарной, пухленькой штучкой, пару сантиметров в диаметре, которая нежно тает во рту.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЧТО ТЫ В НЕЙ НАШЕЛ?

1. Лето ворвалось вместе с первой неделей июня, превратив Лондон в средиземноморский курорт, вытащив людей из домов и офисов в парки и скверы. Жара совпала с приездом нового коллеги, американского архитектора, которого наши пригласили на полгода для совместной работы над деловым центром недалеко от Ватерлоо.

2. — Мне говорили, что в Лондоне каждый день дождь, — и вот, пожалуйста! — заметил Уилл, когда как-то раз мы в обеденный перерыв сидели в ресторане в Ковент-Гарден. — Трудно поверить, а я привез одни свитера.

— Не переживай, Уилл, здесь тоже продаются футболки.

Впервые я встретился с Уильямом Ноттом пять лет назад, когда мы оба провели семестр в школе рисунка на Родосе. Это был человек неправдоподобно высокого роста, с неизменной, словно задубевшей улыбкой, не сходявшей с его лица, загорелого и грубого, как лицо путешественника. Со времени окончания учебы в Беркли он сделал успешную карьеру на Западном побережье, где считался одним из наиболее перспективных и мыслящих архитекторов своего поколения.

3. — Так скажи, ты встречаешься с кем-нибудь? — спросил Уилл, когда настала очередь кофе. — Неужели все еще с той, как ее имя? Ну, с той...

— Нет, что ты, что ты, с ней уже давно все. То, что сейчас, гораздо серьезней.

— Здорово. Расскажи.

— Ты обязательно придешь к нам поужинать, и я вас познакомлю.

— С удовольствием. Расскажи поподробнее.

— Ее зовут Хлоя, ей двадцать четыре года, она занимается компьютерной графикой.

Она умная, красивая, очень классная...

— Звучит ужасно.

— А как ты?

— Если честно, не о чем рассказывать. Я встречался с той девочкой из UCLA [\[40\]](#), но знаешь, каждый хотел командовать, и потом вроде как оба спаслись бегством. Мы не были готовы к продолжительному заплыву, так что... Но расскажи мне еще что-нибудь об этой Хлое, что ты нашел в ней?

4. *Что я нашел в ней?* К этому вопросу я вернулся в тот же день вечером, посреди супермаркета «Сейвуэй», когда меня охватил восторг при виде того, как, стоя у кассы, Хлоя укладывала покупки в пластиковый пакет. В этих простых движениях мне явилась такая бездна обаяния, что я понял: я готов почти все принять в качестве безусловного доказательства ее совершенства. *Что я нашел в ней?* Да практически все.

5. На какое-то мгновение я вообразил себя йогуртом — лишь для того, чтобы меня так же осторожно и бережно пристроили в пакете между банкой тунца и бутылкой оливкового масла. И только атмосфера супермаркета, не располагавшая к мечтательности («Неделя дешевой печенки»), напомнила мне, как опасно такое скольжение в глубь романтической

патологии.

6. Когда шли обратно к машине, я сделал Хлое комплимент по поводу того, как неотразимо она делает покупки.

— Не говори глупостей, — сказала она в ответ. — Можешь открыть багажник? Ключи у меня в сумке.

7. Находить очарование в необычных вещах означает отказ очаровываться тем, что лежит на поверхности. Нехитрое дело восторгаться парой глаз или контурами изящно очерченного рта. Насколько сложнее распознать обаяние, скрытое в движениях женщины, когда она выходит из супермаркета. Манеры Хлои были залогом иного, большего совершенства, которое влюбленному еще предстоит открыть. Они являлись как бы вершиной айсберга, указанием на то, что стоит за ними. Разве ее движения от любящего не требовали оценить их по достоинству, оценить то, что, конечно, оставило бы равнодушным кого-нибудь менее внимательного, менее влюбленного?

8. И все же на пути домой, среди потока машин в этот час, я продолжал пребывать в задумчивости. Моя любовь учинила себе допрос. Какие выводы следовали из того, что вещи, вызывавшие мое восхищение, сама Хлоя расценивала как случайные и безразличные с точки зрения ее подлинного «я»? Не отыскивал ли я в Хлое черт, которые попросту не принадлежали ей? Я бросил взгляд на покатуую линию плеча, на прядь волос, приставшую к спинке сиденья. Она повернула ко мне лицо и улыбнулась, и я на мгновение увидел щель между двумя ее передними зубами. Насколько большая доля моей чуткой, эмоциональной возлюбленной скрывалась в этой симпатичной пассажирке?

9. Ненормальность влюбленного проявляется в том, что он отказывается признать изначальную *нормальность* своего предмета. Отсюда и пресловутая труднопереносимость влюбленных для окружающих. Что они еще находят в возлюбленном, кроме человеческого существа, отличного от них самих? Я неоднократно пытался поделиться своим восхищением Хлоей с друзьями, людьми, с которыми прежде находил много общего в разговорах о кино, литературе и политике. Теперь же они смотрели на меня с непониманием и замешательством, охватывающим атеистов в присутствии горячего проповедника мессианских идей. После того как я в десятый раз рассказывал друзьям очередную историю о Хлое в химчистке, или о нас с Хлоей в кинотеатре, или о том, как мы покупаем еду на вынос, — истории без сюжета и с малым количеством действия, в центре которых стоял единственный персонаж и почти ничего не происходило, — я был вынужден признать, что любовь занимательна лишь для одного и больше ни для кого, для одного, кто в лучшем случае мог рассчитывать на понимание еще одного человека, кроме себя, — самого возлюбленного.

10. Лишь тонкая грань отделяет любовь от фантазии, от представления, никак не пересекающегося с окружающей действительностью, от навязчивой идеи, глубоко личностной по своей природе, сродни нарциссическому самолюбованию. Конечно, в манере Хлои укладывать покупки изначально не содержалось ничего заслуживающего любви, любовь была тем, что я произвольно решил приписать ее движениям, — движениям, которые кто-то другой из стоявших вместе с нами в очереди в «Сейвуэй» мог бы истолковать

совершенно иначе. Человек никогда не бывает плох или хорош *сам по себе*, что означает: любовь или ненависть, которую мы чувствуем по отношению к нему, не имеет никакого основания, кроме субъективного, в значительной мере даже иллюзорного. Это заставило меня вспомнить, как Уилл своим вопросом — в той форме, в какой он был задан, — отделил качества, которыми человек обладает, от тех, которые приписываются ему теми, кто его любит. Он спросил, не *кто такая* Хлоя (как мог бы я ответить объективно?), а что *я нашел* в ней — гораздо более субъективная и, скорее всего, совсем ненадежная характеристика.

11. Вскоре после смерти старшего брата Хлоя (ей тогда только что исполнилось восемь) пережила период глубоких философских раздумий. «Я стала ко всему относиться с сомнением, — рассказывала она мне. — Обстоятельства заставили меня понять, что такое смерть, а этого достаточно, чтобы любого превратить в философа». Одна из ее великих навязчивых идей, о которых до сих пор вспоминали в семье, приводила на память мысли, знакомые читателям Декарта и Беркли. По рассказам, Хлоя закрывала рукой глаза и говорила домашним, что ее брат до сих пор жив, потому что она может видеть его в уме, так же как видит их. Почему они сказали ей, что он умер, если она может видеть его в своем собственном уме? Потом, все дальше заходя в своем вызове реальности и под влиянием своих чувств по отношению к близким, Хлоя (с жестокостью ребенка, осознающего впечатление, производимое на других его враждебностью) сказала своим родителям, что может убить их, закрыв глаза и никогда больше не вспоминая о них, — план, который, надо думать, вызвал у окружающих отнюдь не философскую реакцию.

12. По-видимому, нет ничего удивительного в том, что любовь и смерть в равной мере ставят вопрос о соотношении внутреннего желания и внешней действительности: любовь побуждает нас подменить своим представлением объективную реальность, смерть — ее отсутствие. Чем или кем бы ни была Хлоя, разве я не мог закрыть глаза и верить, что мое восприятие и есть реальность: то, что я нахожу в ней, вправду существует, какова бы ни была ее собственная точка зрения, как и точка зрения людей в «Сейвуэй»?

13. Но даже солипсизм^[41] имеет свои пределы. То, какой я видел Хлою, — соприкасался ли этот взгляд с реальностью или мое суждение было совершенно неправильным? Мне, безусловно, она *казалась* привлекательной, но была ли она *в действительности* так привлекательна, как я думал? Это была все та же проблема цвета, некогда поставленная Декартом: автобус может *казаться* красным смотрящему, но красный ли он сам по себе, какого цвета его сущность? Когда пару недель спустя я познакомил Уилла с Хлоей, он, конечно, испытал некоторое недоумение, хотя, разумеется, постарался этого не показать. Однако это недоумение читалось во всем его поведении, а еще и в том, как он на следующий день на работе сказал мне, что для уроженца Калифорнии английские женщины, конечно, «весьма специфичны».

14. Говоря откровенно, Хлоя сама невольно дала мне повод сомневаться. Я помню, как однажды вечером мы были у меня дома и слушали запись кантаты Баха. Хлоя слушала и одновременно читала. Музыка повествовала о небесном огне, Господних благах и возлюбленных спутниках. Лицо Хлои, усталое, но счастливое, в свете настольной лампы, луч которой наискось прорезал темную комнату, заставляло подумать об ангеле, который лишь

умело притворяется (идя на такие хитрости, как посещение «Сейвуэй» или почты), что он обыкновенный смертный, но дух которого в действительности исполнен самых возвышенных, утонченных и божественных мыслей.

15. Поскольку только тело открыто взгляду, влюбленный в своем безумии тешит себя надеждой, что душа хранит верность оболочке, а тело обладает соответствующей ему душой и именно то, что *показывает* ему наружность, в конечном итоге *является* этим человеком. Я не любил Хлою *ради* ее тела, я любил ее тело, потому что оно, казалось, сулило ответ на вопрос, кто такая она. Это было в высшей степени обнадеживающее обещание.

16. А что, если ее лицо было *ловушкой*, маской, витриной, за которой угадывалось содержание, которым оно не обладало? Возвращаясь к различению, заложенному в вопросе Уилла, — что, если я только *находил* в ней (и в ее внешности) определенные вещи? Я знал о существовании лиц, которые свидетельствуют о таких свойствах, которых у их владельцев нет и в помине, — например, маленькие дети, во взгляде которых читалась мудрость, для обладания которой они были явно слишком юны. «В сорок у каждого такое лицо, какого он заслуживает», — писал Джордж Оруэлл, но является ли даже это утверждение справедливым или это всего-навсего миф, нужный для того, чтобы помочь людям сориентироваться в море лиц так же, как это происходит в сфере бизнеса, а именно, дав им уверенность в естественной справедливости? Признать его мифом означало бы открыто признать чудовищную лицевую лотерею, где барабан крутит природа, а значит, отказаться от нашей веры в то, что лица даются людям Богом (или по меньшей мере, даются *осмысленно*).

17. Влюбленный смотрит на предмет своей любви у кассы в супермаркете или в собственной гостиной и принимается мечтать, истолковывать его (ее) выражение лица и жесты, чтобы затем, поддавшись очарованию, наделить их каким-то неземным совершенством. Он или она использует то, как предмет любви кладет банку тунца или наливает чай, как составляющие для своей мечты. И разве любовь не вынуждает все время грезить наяву, все время подвергаться опасности пробудиться для более земных реалий?

18. — Ты не мог бы выключить эти немислимые завывания? — внезапно сказал ангел.

— Какие немислимые завывания?

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Музыка.

— Это Бах.

— Я знаю, но музыка дурацкая, я не могу сосредоточиться на «Космо».

19. «Действительно ли я люблю *ее*, — подумал я, снова глядя на Хлою, читавшую на диване в другом конце комнаты, — или только идею, сконцентрировавшуюся вокруг ее рта, ее глаз, ее лица? Распространяя впечатление от внешности на весь ее характер, не ошибался ли я, напрасно доверяясь метонимии, когда символ, атрибут сущности, подменяет саму сущность? Корона вместо монархии, колесо вместо автомобиля, Белый дом вместо правительства США, ангельская внешность Хлои вместо Хлои...»

20. Комплекс миража проявляется в том, что мучимый жаждой человек воображает, что видит воду, пальмовые деревья и тень не потому, что к тому есть объективные основания, а поскольку он нуждается в этом. Отчаянная нужда сопровождается галлюцинациями,

видениями того, что может ее утолить: жажда заставляет видеть воду, потребность в любви вызывает видения идеального мужчины или женщины. Комплекс миража никогда не возникает на пустом месте: человек в пустыне действительно видит на горизонте *нечто*. Только пальмы стоят без листьев, колодец высох, а само место поражено саранчой.

21. Разве не был я жертвой подобного обмана, один на один в комнате с женщиной, лицо которой было лицом человека, сочиняющего «Божественную Комедию», в то время как она преспокойно читала раздел астрологических прогнозов в «Космополитен»?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

СКЕПТИЦИЗМ И ВЕРА

1. В противоположность истории любви история философии постоянно имеет дело с несовпадением между видимостью и реальностью. «Мне кажется, я вижу за окном дерево, — говорит философ, — но разве не может быть, что это — только обман, оптическая иллюзия, ограниченная моей собственной сетчаткой?» «Мне кажется, я вижу свою жену, — говорит философ, с безнадежностью добавляя: — Но разве не может быть, что она тоже всего лишь оптический обман?»

2. Философы стремятся ограничить область эпистемологических сомнений существованием столов, стульев, внутренних дворов своих соседей по Кембриджу и вдруг ставшей ненужной жены. Но стоит распространить эти вопросы на то, что нас волнует, например на любовь, как тут же возникнет пугающая перспектива, что все связи с реальностью для предмета любви ограничиваются тем, что он является плодом нашей фантазии.

3. Легко сомневаться в том, что не является жизненно важным: мы все скептики настолько, насколько можем себе это позволить, легче же всего проявлять скептицизм по отношению к тем вещам, которые не обеспечивают наше существование. Легко усомниться в существовании стола, но чертовски трудно сомневаться в легитимности своей любви.

4. Стоявшим у истоков европейской философии путь от незнания к знанию представлялся торжественным шествием, согласно сравнению, к которому прибегнул Платон, из темной пещеры к сияющему солнечному свету. Люди рождаются неспособными видеть сущее, говорит Платон, как обитатели пещеры, принимающие тени от предметов на ее стенах за сами предметы. Только величайшее усилие позволяет отбросить иллюзии и проделать путь из мира теней, царящего в пещере, навстречу сияющему солнечному свету, где наконец вещи могут предстать такими, какими они на самом деле являются. Как и во всякой аллегории, в этой сказке содержится мораль, которая говорит, что стремление к истине должно быть для человека ни много ни мало смыслом всей жизни.

5. Понадобилось, чтобы прошло еще двадцать три века, пока утверждение Сократа о преимуществах следования по этому пути от иллюзии к знанию было оспорено не просто с эпистемологических, а с морально-нравственных позиций. Конечно, все кому не лень — от Аристотеля до Канта — критиковали Платона за то, как он предлагал достичь истины, но никто всерьез не усомнился в *ценности* самого этого предприятия. Наконец, в своей работе «По ту сторону добра и зла» Фридрих Ницше взял быка за рога и спросил:

«Что в нас по-настоящему желает „истины“?.. Мы спрашиваем о *ценности* этого стремления. Предположим, нам нужна истина: *а почему не ее* противоположность? или неопределенность? или даже незнание?.. Ложность суждения для нас не всегда означает, что оно плохо... вопрос в том, насколько оно движет жизнь вперед, насколько оно спасительно для жизни, насколько благотворно для человека как вида, даже для улучшения человеческой породы; и наша основополагающая тенденция состоит в том, чтобы утверждать, что самые

ложные из суждений... являются самыми необходимыми для нас... что отрицание ложных суждений равнозначно отрицанию жизни».

6. В спорах о религии вопрос о ценности истины, разумеется, возник на много столетий раньше. Философ Паскаль (1623–1662), горбатый янсенист, автор «Pensees» — «Мыслей», говорил о выборе, перед которым оказывается каждый христианин в мире, разделенном на две неравные части, — между ужасом вселенной без Бога и благостной — но бесконечно более слабой — альтернативой, что Бог существует. Даже если явное преимущество на стороне Божьего небытия, Паскаль утверждал, что наша вера тем не менее может считаться оправданной, поскольку радость, вызываемая этой меньшей вероятностью, во много раз перевешивает ужас, сопряженный с другой, большей. Так, возможно, дело обстоит и с любовью. Любящие не могут долго оставаться философами, им приходится уступить религиозному импульсу, состоящему в том, чтобы верить и иметь веру, что кардинально противостоит философскому побуждению, призывающему сомневаться и спрашивать. Они вынуждены предпочесть риск *ошибаться и любить* тому, чтобы *сомневаться и не любить*.

7. Такие мысли обретались в моей голове, когда однажды вечером я сидел на кровати дома у Хлои и возился с ее игрушечным слоном Гуппи. Она говорила мне, что в детстве Гуппи отводилась в ее жизни огромная роль. Он был таким же реальным лицом, как и другие члены семьи, только гораздо более симпатичным. У него были свои привычки, своя любимая еда, своя манера спать и говорить — и все же, если смотреть глазами постороннего человека, тут же становилось ясно, что Гуппи целиком и полностью был ее созданием и не существовал вне ее воображения. Но если что-то и могло разрушить дружбу Хлои со слоненком, то это был вопрос, существует ли такое создание на самом деле: «Живет эта меховая игрушка независимо от тебя или ты попросту придумала его?» И мне пришло в голову, что, видимо, подобная осторожность должна быть применима и к влюбленным с их предметами любви, что никто и никогда не должен задавать любящему вопрос: «Этот полный неотразимого обаяния субъект действительно существует или ты просто придумываешь его?»

8. История медицины знает случай, когда человек был одержим особой манией, воображая, что он — яйцо всмятку. Когда и при каких обстоятельствах им овладела эта идея, не знал никто, но теперь он отказывался садиться где бы то ни было из боязни, что упадет и «разобьется» и «разольет желток». Доктора пытались давать ему успокоительное и другие лекарства, чтобы уменьшить страх, но ничто не приносило ощутимого результата. В конце концов один врач попытался представить себя на месте одержимого пациента и предложил ему везде носить с собой кусок хлеба, чтобы подкладывать его на всякий стул перед тем, как сесть, и таким образом предохранять себя от растекания. С тех пор этого человека никогда не видели иначе как с куском хлеба под рукой, и он смог вести более или менее нормальную жизнь.

9. В чем суть этой истории? Она говорит о том, что, если кто-то одержим манией (любовь, вера в то, что ты яйцо) и если он находит в чем-то другую часть ее (второго влюбленного в лице Хлои, одержимого той же манией, или кусок хлеба), тогда все может быть хорошо. Сами по себе мании безвредны, они причиняют неудобство, только когда

одержимый ими одинок в своей одержимости, когда он не может создать окружение, в котором ему будет легко с ней справиться. Пока мы с Хлоей оба могли верить в этот крайне сомнительный мыльный пузырь, каким является любовь, какое имело значение, красный автобус на самом деле или нет?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

БЛИЗОСТЬ

1. Наблюдая, как кусочек сахара тает в чашке ромашкового чая, Хлоя, на чью компанию я рассчитывал, думая придать своей жизни смысл, вдруг сказала: «Мы не можем съехаться вместе из-за меня: я должна жить одна, иначе я растворюсь. Здесь дело не в том, чтобы самой запереть дверь, а в психологии. Я не хочу этого не потому, что ты мне не нужен, а из страха, что мне будешь нужен только ты, что в один прекрасный день я увижу: от меня ничего не осталось. Так что прости и смотри на это как на проявление моего всегдашнего маразма, но боюсь, мне придется всегда оставаться на положении командировочной».

2. Впервые я увидел Хлоину сумку в аэропорту Хитроу — яркий розовый баул на блестящем зеленом ремне. Хлоя появилась с ней перед моей дверью в первый же вечер, когда решила у меня остаться, лишней раз извинившись за ядовитые цвета и сказав, что воспользовалась ею, чтобы прихватить зубную щетку и перемену белья на следующий день. Я предположил, что сумка — временный атрибут, явление преходящее, которое будет существовать лишь до тех пор, пока Хлоя не почувствует себя достаточно комфортно и не определит щетку и белье на постоянное жительство в моей квартире. Но она так и не отказалась от сумки и каждое утро должна была заново собирать ее, как если бы это был последний раз и мы больше никогда не увидимся, как если бы оставить у меня какие-нибудь сережки означало пойти на невозможный риск раствориться.

3. Она часто говорила о своем растворении: растворении в толпе при посадке на поезд в утренние часы, растворении в своей семье или среди персонала офиса, а значит, косвенным образом и о растворении в любви. Этим объяснялась важность сумки как символа свободы и независимости, желанная заключить себя в скобки, собрать воедино все части себя, разбросанные по другим людям.

4. И все же при всем ее умении паковать вещи со временем Хлоя начала оставлять кое-что после себя. Не зубные щетки и не туфли, но частички себя самой. Это началось с языка, с того, как она передала мне свою манеру говорить «когда-то» вместо «иногда», делать ударение на первом слоге в слове «начала» или говорить «береги себя», перед тем как повесить трубку. В свою очередь, Хлоя переняла мою манеру говорить «чудесно» и «если ты действительно так считаешь». Затем мы стали перенимать привычки друг друга: ко мне перешло Хлоино требование абсолютной темноты в спальне; она стала складывать газету, как я; у меня появилась привычка, обдумывая что-то, ходить вокруг кресла; она полюбила валяться на паласе.

5. Постепенная диффузия принесла с собой известную степень близости, состояние, когда границы между нами перестали строго охраняться, допуская свободное прохождение броуновских частиц. Тело больше не ощущало постороннего взгляда. Хлоя могла лежать на кровати и читать, ковыряя пальцем в носу, а затем, устранив препятствие, скатать между пальцами твердый шарик и проглотить. Знакомство с телом шло помимо сексуальности; душным летним вечером мы могли лежать вместе обнаженными и не обращать на это

внимания. Мы могли позволить себе какое-то время ничего не говорить, мы перестали быть параноидально болтливы из боязни, что, если разговор прервется, молчание сыграет с нами злую шутку («Что она (он) тем временем думает обо мне?»). Мы стали увереннее в себе в отношении того, что каждый из нас думает о другом, и это делало излишним непрерывное соблазнение (по сути, боязнь противоположного).

6. Близости сопутствовал избыток информации, касавшейся не *философского*, а, напротив, *повествовательного* аспекта экзистенции: запах Хлоиной кожи после душа; звук ее голоса, когда она говорит по телефону в соседней комнате; урчание живота, когда она голодна; выражение ее лица в тот момент, когда она собирается чихнуть; форма ее глаз, когда она только что проснулась; то, как она встряхивает мокрый зонт; звук, с каким расческа проходит сквозь ее волосы.

7. Узнав друг друга лучше, мы ощутили потребность в новых именах друг для друга. Любовь застаёт нас с тем именем, которое у нас уже есть, даваемым нам при рождении и узаконенным записью в паспорте и всевозможных документах. Так разве не естественно, что при той неповторимости, которую любящий видит в партнере, эта неповторимость ищет себе выражения и находит его (пусть косвенно) в имени, неизвестном другим? В то время как в своей конторе Хлоя продолжала зваться Хлоей, для меня (мы сами не понимали почему) она стала просто *Тиджи*. Что касается меня, то я, рассмешив однажды Хлою рассказом о страданиях немецких интеллектуалов, заслужил (возможно, не такое загадочное) прозвище *Weltschmerz*^[42]. Важность этих имен была не в том, что конкретно они означали — мы могли бы в итоге звать друг друга Пьют и Тик, — но, прежде всего, в самом факте, что мы решили дать друг другу новые имена. *Тиджи* подразумевало то знание Хлои, которым не обладал, к примеру, банковский служащий (знание ее кожи после душа, звука, с которым расческа проходит сквозь ее волосы). Хлоя было связано с ее жизнью в обществе, *Тиджи* существовало помимо этой жизни, принадлежа более изменчивому и единственному в своем роде пространству любви. Это была победа над прошлым, символизирующая крещение и рождение заново благодаря любви. «Я встретил тебя с уже готовым именем, — говорит влюбленный, — но я дал тебе другое, чтобы обозначить разницу между тем, кто ты для меня, и тем, кто ты для всех остальных. Тебя могут звать NN на работе (в общественной сфере), но в постели со мной ты всегда будешь „Моей Морковкой“»...

8. Элемент игры, заставлявший нас придумывать друг другу прозвища, с них перешел и на прочие сферы языка. В то время как обычный диалог предполагает непосредственный обмен информацией (а следовательно, всегда имеет определенную цель), интимный язык избегает правил, отрицая необходимость очевидного и постоянного *направления*. Диалог может вовсе превращаться в игру — при полном отсутствии какой бы то ни было логики, нисходя до потока сознания, оставляя путь сократической логики для карнавала, — уже не обмен информацией, а один только голос. Любовь истолковывала предположение о том, что лежало на грани произнесенного и непроизнесенного, выразимого и невыразимого (любовь как воля, подталкивающая к тому, чтобы распространить понимание на едва обозначенные мысли партнера). Такое же различие существует между бессмысленным рисунком и чертежом: рисовальщику не нужно знать, куда поведет его карандаш, он уступает ему, как воздушный змей отдается воле воздушных потоков. Свобода движения без всякой цели. От

посудомоек мы переходили к Уорхоллу ^[43], к крахмалу, к народу, к проектированию, к проектировщикам, к попкорну, к пенисам, к недоношенным детям, к абортам, к инсектицидам, к укусам, к полетам, к поцелуям. Была упразднена всякая языковая цензура, не было никаких фиговых листков, потому что мы не вставали, а, лежа в кровати, делились потоком сознания. Можно было говорить о чем угодно, это была полисемантическая какофония идей. Мы легко преодолевали проблему авторства, отказываясь от своей манеры говорить и перенимая акцент политиков и поп-звезд. В противоположность занудам-грамматикам мы начинали предложение, не зная, чем его закончить, спасаемые от полного краха партнером, приходившим на помощь, подхватывая конец и привязывая понтон к очередному столбу.

9. Близость не разрушала границы между «я» и «остальные». Она лишь вынесла ее за рамки пары. «Другие» теперь находились по ту сторону двери, подтверждая подозрение, что любовь никогда не бывает далека от заговора. Частные суждения одного выливались в суждение двоих, угрозы, исходившие снаружи, разделялись на общей постели. Говоря кратко, мы сплетничали. Сплетни не всегда были злыми, чаще они представляли собой достойный сожаления продукт неспособности соблюсти корректность в наших ежедневных взаимоотношениях, откуда проистекала потребность внести свежую струю в спертый воздух накопившейся лжи. *Поскольку я не могу напрямую сказать тебе о такой-то и такой-то черте твоего характера (поскольку ты не поймешь или это покажется тебе слишком обидным), я буду сплетничать об этом за твоей спиной с кем-то, кто способен понять.* Хлоя стала последним пристанищем для моих суждений о мире. Все мои чувства и мысли по поводу коллег и друзей, которыми я не мог поделиться с ними, от которых я даже пытался отпираться, я теперь мог беспрепятственно разделить с Хлоей. Любовь находила себе пищу в общих антипатиях: «Нам обоим не нравится NN» переводилось как «Мы нравимся друг другу». Любовники — значит преступники. Доказательством нашей лояльности друг другу стала степень откровенности, с которой мы делились нашей нелояльностью по отношению к другим.

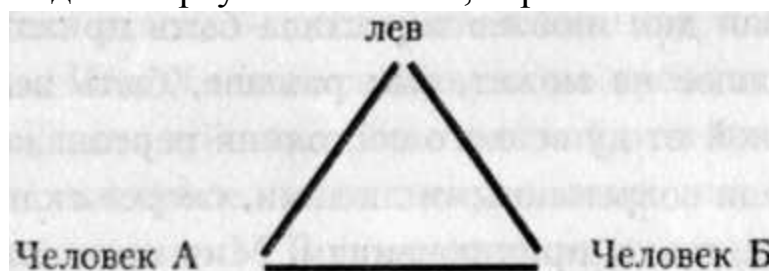
10. Конспирацией любовь, возможно, напоминала союз заговорщиков, но она, по крайней мере, была честна. Мы уединялись в компании друг друга, чтобы в постели посмеяться над лицемерием, без которого не обходились в светской жизни. Мы возвращались с официальных обедов и потешались над тем, насколько чинно там все совершалось, подражая манере говорить и точке зрения тех, кому только что вежливо пожелали доброй ночи. Лежа в кровати, мы могли не оставить камня на камне от значительной самодостаточности светского обращения, заново проигрывая череду вопросов и ответов, которыми только что чинно обменивались за обедом. Я спрашивал Хлою о том же, о чем за столом только что спрашивал ее бородатый журналист, она отвечала так же вежливо, как перед тем отвечала ему, но все это время ее рука под простынями не оставляла в покое мой член, а я осторожно водил ногой вверх-вниз между ее ногами. Потом внезапно, словно будучи шокирован, обнаружив Хлоину руку там, где она была, я задавал ей самым высокопарным тоном следующий вопрос: «Мадам, могу я спросить вас, что вы делаете с моим достойным членом?» — «Дорогой сэ, — был ответ, — достойное поведение члена вас не касается». Или Хлоя выскакивала из кровати и говорила: «Сэр, пожалуйста, сейчас же выйдите из моей постели, вы, наверное, меня неправильно поняли, мы с вами едва

знакомь». В пространстве, созданном нашей близостью, формальности этикета проходились заново, теперь в комическом свете, как трагедия, которая за кулисами переворачивалась актерами с ног на голову, когда игравший Гамлета актер после представления обнимал Гертруду и кричал на всю гримерную: «Трахни меня, мама!»

11. Время близости мы не просто проживали и забывали, оно переплавлялось в роман, который мы с Хлоей рассказывали друг другу о себе самих, — самоповествование нашей любви о самой себе. Уходя корнями в эпическую традицию, любовь по необходимости привязана к рассказу (история любви всегда предполагает нарратив), если точнее, к приключенческому жанру, четко оформленному при помощи начал, концовок, идеи, крушений и триумфов. Дни не просто сменяют друг друга в бессмысленной чередке, в романе телеология все время заставляет персонажей двигаться вперед — или читатель начнет скучать и отложит книгу. Поль и Виржиния, Анна и Вронский, Тарзан и Джейн — все они борются с препятствиями, и эта борьба укрепляет и обогащает их союз. Брошенные на произвол судьбы в джунглях, на терпящем бедствие корабле или горном склоне, сражаясь против сил природы или общества, влюбленные пары — герои эпического повествования — доказывают силу своей любви той несгибаемостью, с которой они преодолевают все трудности.

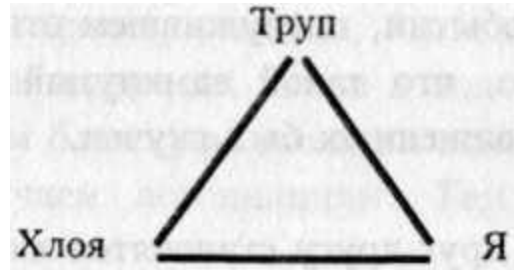
12. В наши дни любовь перестала быть приключением, происходящее не может, как раньше, быть всего лишь производной от душевного состояния персонажей. Мы с Хлоей были современными людьми, скорее склонными к монологам, чем к приключениям. Мир предоставлял гораздо меньше возможностей для романтических битв. Родителям все равно, джунгли полегли под ударами топора, общество спрятало свое неодобрение под маской всеобщей лояльности, рестораны открыты допоздна, почти везде принимают кредитные карточки, а секс из преступления превратился в обязанность. И, несмотря на это, у нас был свой роман, общая история, утверждавшая наш союз (груз прожитого, наподобие пресспапье, удерживающий невесомое настоящее...).

13. Наша общая история едва ли могла показаться захватывающей, но важность ее была не в этом, а в том, что благодаря ей нас связывал целый ряд общих переживаний. Что такое переживание? Нечто, разрывающее череду вежливой обыденности и на короткое время дающее нам возможность воспринимать вещи неожиданно ярко в силу новизны, опасности или красоты происходящего. Пережить что-то означает раскрыть глаза во всю ширину, что обычно мешает нам делать привычка, и если такое происходит одновременно с двумя людьми, следует ожидать, что впоследствии они станут от этого ближе друг к другу. Двое, которым на вырубке в джунглях вдруг повстречался лев (если, конечно, они останутся живы), будут связаны наподобие треугольника тем, через что они вместе прошли.



Ил. 13.1.

14. На нас с Хлоей ни разу не напал лев, но мы вместе прошли через множество мелких городских переживаний. Однажды вечером, возвращаясь из гостей, мы обнаружили мертвое тело. Труп лежал на углу Чарлвуд-стрит и Белгрейв-роуд. Это была женщина, о которой мы в первую секунду подумали, что она устроилась спать на мостовой, возможно, потому, что была пьяна. Там не было ни следов борьбы, ни пятен крови, но, когда мы уже собирались пройти мимо, Хлоя заметила рукоятку ножа, торчавшего из ее живота. Насколько хорошо мы знаем человека до тех пор, пока нам не доведется вместе найти труп? Мы тут же бросились к телу. Хлоя иногда вдруг появлявшимся у нее голосом учительницы или медсестры сказала, чтобы я перестал стоять и смотреть, что нам следует позвонить в полицию. Затем она проверила у женщины пульс (женщина действительно была мертва) и позаботилась о том, чтобы все оставалось так, как было. На меня произвел впечатление ее профессионализм, но посреди полицейского допроса она вдруг начала судорожно рыдать и в течение нескольких дней не могла избавиться от видения торчащей из тела рукоятки. Это был ужасный случай, но каким-то странным образом после него мы стали ближе друг другу. Остаток ночи мы провели без сна, пили в моей квартире виски и рассказывали идиотские истории, одна мрачнее другой, изображая по очереди трупы и полицейских, чтобы избавиться от своих страхов.



Ил. 13.2.

15. Через несколько месяцев мы вместе были в галантерейном магазине на Бриклеин, и один элегантный господин в пиджаке в мелкую полоску, стоявший рядом с нами в очереди, вдруг молча протянул Хлое сложенную записку, на которой крупным небрежным почерком было написано: «Я тебя люблю». Хлоя развернула клочок бумаги, с трудом сглотнула, пока читала, а потом обернулась посмотреть на человека, который его передал. Мужчина же почему-то повел себя так, как если бы ничего не произошло, и спокойно оглядывал улицу с высокомерием человека в пиджаке в мелкую полоску. Тогда Хлоя с тем же невинным выражением попросту сложила записку и сунула ее себе в карман. Странность этого случая привела к тому, что, как и труп, только с более легким сердцем, мы сделали его в своих отношениях чем-то вроде лейтмотива, эпизодом нашей истории, который давал нам почву для аллюзий и служил поводом для шуток. В ресторанах мы могли в полном молчании, со всей таинственностью того человека из очереди обмениваться записками, на которых значилось лишь: «Пожалуйста, передай мне соль». Стороннему наблюдателю могло показаться странным и необъяснимым, почему мы вдруг начинали кататься со смеху. Но в том-то и заключался смысл лейтмотивов, что они отсылали к случаям, о которых другие люди знать не могли, поскольку не присутствовали при событии, послужившем отправной точкой. Не удивительно, что такой замкнутый на самом себе язык для непосвященных был скучен.

16. Чем ближе друг другу становятся люди, тем больше язык, на котором они между

собой говорят, отличается от нормированного словарем языка среднестатистического дискурса^[44]. Близость создает новый язык — язык близости, служащий для *домашнего* употребления, сохраняющий отсылки к роману, который двое любовников пишут сообща и который не может без подготовки вдруг сделаться понятным для посторонних. Этот язык черпает свои значения со склада общих переживаний, в нем заключена история отношений, он — то самое, что отличает разговор с любимым человеком от разговора с кем-либо еще.

17. Происшествий, пережитых сообща, в действительности было намного больше: люди, которые встречались на нашем пути, вещи, которые мы видели, делали или слышали и на которые могли ссылаться, уверенные в своем общем наследстве, — тут был профессор, встреченный на одном ужине, который писал книгу, где утверждалось, что на самом деле родоначальником психоанализа был не сам Фрейд, а его жена; тут был мой друг Уилл Нотт со своими часто смешными калифорнийскими привычками; здесь был игрушечный жираф, которого мы купили в Бате, чтобы он составил на кровати компанию Хлоиному слону; тут было знакомство с бухгалтером в поезде — эта женщина призналась, что всегда носит в сумочке револьвер...

18. Эти происшествия, конечно, были лишены всякого интереса: подавляющее их число и вовсе было понятно лишь нам одним благодаря дополнительным, связанным с данным случаем ассоциациям. Тем не менее эти лейтмотивы были исключительно важны, поскольку рождали в нас чувство, что мы не чужие друг другу, что у нас есть некие общие воспоминания и что мы оба помним значение, присвоенное им нами двоими. Несмотря на всю хрупкость, они действовали как цемент. Язык близости, который они помогли создать, постоянно напоминал о том, что (не прокладывая путей сквозь непроходимые заросли, не убивая чудовищ и не переезжая друг к другу в квартиры) мы с Хлоей тем не менее создали вместе нечто вроде нашей с нею вселенной.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ «Я»

1. В одно из воскресений в середине июля, ближе к вечеру, мы сидели в кафе на Портобелло-роуд. Позади был чудесный день, почти целиком проведенный в Гайд-парке за чтением книг и лежанием на солнце. Но где-то около пяти часов я вдруг ощутил приступ меланхолии. Мне хотелось пойти домой и спрятаться под одеяло, и я не делал этого лишь потому, что прятаться было абсолютно не от чего. Воскресные вечера с давних пор наводили на меня грустные мысли, напоминая о смерти, незаконченных делах, чувстве вины и утратах. Мы сидели и молчали. Хлоя читала газеты, я смотрел сквозь стекло на проезжавшие мимо машины и людей. Вдруг она перегнулась через стол, поцеловала меня и прошептала: «У тебя снова этот потерянный взгляд брошенного мальчика». Никто и никогда не говорил мне ничего подобного, но когда Хлоя сказала это, ее слова тут же чудесным образом пришли в согласие с чувством возвышенной и смутной грусти, владевшей мной тогда. Я ощутил (возможно, непропорционально сильный) прилив любви к ней, вызванный ее замечанием, — за то, что она поняла вещь, которая так и осталась бы, я чувствовал, для меня загадкой, за то, что она пожелала войти в мой мир и объективировать его для меня. Это была благодарность за напоминание брошенному о том, что он брошен, — а значит, за возвращение его домой.

2. Возможно, справедливо утверждение, что мы не существуем по-настоящему до тех пор, пока не появился кто-то, кто заметит наше существование. Мы в полном смысле слова не владеем даром речи, пока не найдется кто-то, кто поймет то, что мы говорим. По сути, мы не вполне живы, пока нас не полюбили.

3. Что хотят сказать, говоря, что человек есть «общественное животное»? Только то, что люди нуждаются друг в друге, чтобы определить свои границы и достичь самосознания, в чем моллюски и дождевые черви отнюдь не испытывают потребности. Мы не можем получить никакого представления о себе в отсутствие окружающих, которые призваны показать нам, где заканчиваемся мы и начинаются другие. «В одиночестве человек может приобрести все, кроме характера», — писал Стендаль, подразумевая, что рождение характера происходит от реакций на него окружающих. Поскольку «я» не является законченной структурой, его текучая природа требует контура, придаваемого ему остальными. Я нуждаюсь в ком-то, кто помог бы мне вести историю моей жизни, в человеке, который знал бы меня так же хорошо, как я сам, а порой даже лучше.

4. В отсутствие любви мы лишаемся возможности правильного самоотождествления, тогда как в любви личность находит свое постоянное подтверждение. Не удивительно, что в религии отводится столь важное место «Божьему призрению»: быть видимым означает быть уверенным в своем существовании; самое лучшее, если имеешь дело с Богом или партнером, который тебя *любит*. Присутствие человека оправдано в глазах другого человеческого существа, которое для него (и для которого он) — целый мир. В окружении людей, которые не помнят точно, кто мы, — людей, в чьем присутствии мы десятки раз по разным поводам обращаемся к своей истории, и которые в очередной раз забудут, сколько раз мы были

женаты, сколько у нас детей и зовут ли нас Билл или Брэд, Катрина или Катерина (а вы платите им тем же и тоже ничего о них не помните), разве не успокоительна возможность найти спасение от шизофрении в объятиях кого-то, кто надежно хранит нашу личность в своей душе?

5. Мы не случайно можем иметь в виду почти одно и то же, когда говорим о любви и об интересе: «Я люблю бабочек» значит почти то же самое, что «Я интересуюсь бабочками». Любить человека означает испытывать к нему глубокий интерес, а следовательно, благодаря самому этому интересу уметь объяснить ему смысл его собственных слов и поступков. Хлоя понимала меня, и в ее поведении по отношению ко мне со временем все больше стали проявляться элементы того, что можно было бы назвать *подтверждением моего «я»*. Множество этих разнообразных «подтверждений» содержалось в ее интуитивном понимании большей части моих настроений, знании моих вкусов, в словах, которые она говорила обо мне, в памяти на мои привычки и обыкновения, в шуточном признании за мной различных фобий — любя меня, она действовала как перчатка, возвращающая руке ее форму. Хлоя замечала, что я склонен к ипохондрии, что я стеснителен и не люблю говорить по телефону, что я одержим идеей обязательного восьмичасового сна, что я терпеть не могу засиживаться в ресторане, что я прибегаю к вежливости как к форме агрессивной защиты и обычно говорю «может быть» там, где другой сказал бы «да» или «нет». Она могла цитировать мне меня самого («Прошлый раз ты сказал, что тебе не нравится, когда так иронизируют...»), демонстрируя отличное понимание моего характера, она удерживала в памяти детали — как хорошие, так и дурные — моей жизни («Ты всегда паникуешь...», «Я никогда не видела, чтобы человек так часто забывал заправить машину, как это делаешь ты...»). Я был ввергнут в процесс созревания, который начался с открытия благодаря Хлоиному участию новых перспектив своей собственной личности. Нужна была близость любовников, чтобы указать стороны характера, на которые другие люди попросту не обращали внимания, ракурсы, которые объективно могли представлять трудность для рассмотрения. Бывали моменты, когда Хлоя весьма откровенно говорила мне, что я, как ребенок, впадаю в патетику, что я замкнулся в обороне, что я придираюсь, что проявляю враждебность или ревную — или еще сколько угодно негатива (все, однако, вполне справедливо). В такие минуты я благодаря ей оказывался лицом к лицу с такими проявлениями собственного «я», которые ускользали от обычного заглядывания внутрь себя (в поисках душевной гармонии), для выявления которых окружающие были слишком нелюбопытны, и чтобы обратить на них мое внимание, требовалась вся искренность общей постели.

6. Любовь представляется ограниченной с двух сторон угрозой распада — жизнь под взглядом слишком большого и слишком малого числа глаз. Хлоя всегда панически боялась первого. Задавленная в детстве, она рассматривала взрослость как возможность избавиться от скованности, которую придавали ее движениям посторонние взгляды. Она мечтала поселиться одна в деревне, в просторном белом доме с большими окнами, почти вовсе без мебели — символ ухода от мира, тягостное внимание которого лишало ее сил. Когда ей исполнилось девятнадцать, она попыталась осуществить свое желание, уехав в Аризону, за тысячи километров от дома и поселившись на окраине маленького городка, где у нее не было никого знакомых. Во власти юношеского романтизма она взяла с собой чемодан,

битком набитый томами классиков, которые она собиралась читать, делая пометки, на восходе и на закате любясь пустынным пейзажем. Но уже в первые недели после приезда она стала страдать от одиночества, к которому стремилась всю свою жизнь, находя его пугающим, дезориентирующим, оторванным от реальности. Звук собственного голоса, слышимый раз в неделю в минимаркете, заставлял ее вздрагивать. У нее появилась привычка подолгу смотреть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что она действительно существует, что у нее есть границы. В конце концов всего месяц спустя она уехала из городка и устроилась официанткой в ресторан в Финиксе, не в состоянии долгие выносить «нереальность», поглотившую ее. Когда Хлоя оказалась в Финиксе, общение со множеством людей явилось для нее невероятным шоком. Она вдруг обнаружила, что не может ответить на простые вопросы, вроде того, что делает в данный момент. Ею было утрачено всякое ощущение собственного «я», и казалось, что ее переживания нельзя выразить языком.

7. Если любовь возвращает нам наше отражение, то одиночество похоже на отказ от зеркала — и пусть воображение творит что угодно со шрамом или родинкой на нашем лице. Несмотря на ущерб, зеркало, по крайней мере, возвращает нам ощущение себя, предоставляет четкий контур, который мы можем противопоставить игре воображения. Поскольку знание того, кто мы, не возникает само по себе, в пустыне Хлою сопровождала размытость, контуры ее характера потеряли четкость, выпав из фокуса внимания окружающих, — в то время как воображение захватило власть над ней, превратив ее в чудовищное существо, жертву порожденных тем же воображением иллюзий и паранойи. Реакция других на наше поведение сравнима с зеркалом, поскольку она возвращает нам наш собственный образ, *который мы сами не в состоянии увидеть*. Вот почему другие люди оказываются так необходимы — они могут дать нам нечто, что в одиночестве остается для нас недоступным, а именно неуловимое сознание своих границ, ощущение собственного характера. Кто я, если другие не подскажут мне ответ? (Кем был бы я, если бы Хлоя не подсказала мне правильный ответ?)

8. Потребовалось много времени, чтобы я смог понять Хлою как *персонажа*, рассмотреть, какая роль отводится ей в повести ее собственной жизни — повести, рассказанной ею себе же и о себе самой. С большим опозданием я начал среди миллионов слов, которые она говорила, и действий, которые совершало ее тело, распознавать связующие нити, ключевые узлы, в которых заключалось объяснение всего многообразия ее слов и поступков. Путь познания другого человека неизбежно проходит через истолкование частных случаев к пониманию целого. Теоретически, чтобы полностью узнать кого-то, необходимо каждую минуту его жизни провести рядом с ним, внутри его. Поскольку это невозможно, нам остается, как детективам (в психологических детективах), складывать из кусочков общую картину. Но мы всегда успеваем на место слишком поздно, когда преступление (главная сцена) уже состоялось, а потому нам приходится медленно и кропотливо восстанавливать прошлое по его следам, словно анализируя сон после пробуждения.

9. В своем стремлении понять Хлою я напоминал врача, водящего руками по телу в попытке проникнуть внутрь. Я выстукивал глубины, вынужденный ограничиваться поверхностью, стараясь понять, что вызвало внезапную смену настроения, неожиданный

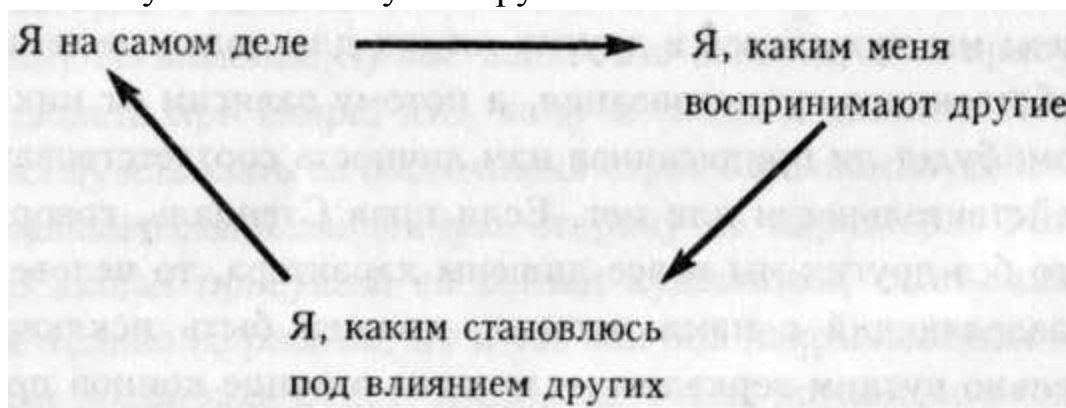
взрыв ненависти или веселья и что это мне добавляет к общей картине Хлоиноного характера. Такой путь требовал времени, и меня не оставляло чувство, что каждый раз я слишком поздно оказываюсь на месте происшествия, что я бегу, силясь захватить движущуюся мишень. Так лишь долгое время спустя я осознал, насколько важной чертой в характере Хлои было стремление скорее страдать в одиночестве, нежели побеспокоить других. Как-то утром Хлоя сообщила мне, что ей всю ночь было очень плохо, даже пришлось съездить за лекарством в дежурную аптеку, но она тем не менее сделала все, чтобы не разбудить меня. В ответ я прежде всего ужасно рассердился — как могла она мне ничего не сказать? Разве мы, в самом деле, настолько чужие, чтобы в трудный момент не разбудить друг друга? Но гнев (одно из проявлений ревности) в данном случае был грубым, поскольку, сердясь, я оставил без внимания нечто, что научился понимать лишь со временем: насколько основополагающей и всепроникающей чертой ее натуры была склонность брать вину на себя, уходить в сторону — вместо того, чтобы давать отпор или потревожить чей-либо сон. Для того чтобы разбудить меня, она должна была оказаться на волосок от смерти, поскольку все в ней не желало перекладывать ответственность на других. Стоило однажды наткнуться в ее характере на эту струну, и тут же сотни ее поступков и проявлений сразу получили истолкование — отсутствие обычного раздражения против родителей (которое проявляется в форме жестокой иронии), безмерная преданность работе, непонимание людей, имеющих привычку жалеть себя, чувство долга, даже ее манера плакать (молчаливые всхлипывания вместо слезливых причитаний).

10. Как специалист по ремонту телефонных сетей, я определял основной провод в спутанной вермишели, с которой можно сравнить «я» в действии: я научился распознавать каждый раз, когда мы с компанией бывали в ресторане, ее нелюбовь к язвительным шуткам и подколкам, ее желание лучше заплатить за всех, чем присутствовать при споре, кто, кому и сколько должен. Я начал чувствовать ее постоянный страх быть обманутой, отшельнически-независимую сторону ее характера. Меня восхищал присущий ей взгляд художника, отличавший не только ее работы, но и то, как она накрывала на стол или подбирала букет. Я стал замечать, насколько скована она в общении с другими женщинами и насколько свободнее чувствует себя в обществе мужчин. Я воздал должное ее горячей преданности тем, кого она считала своими друзьями, природному инстинкту рода и сообщества. Все эти характеристики способствовали тому, что Хлоя постепенно приобрела в моих глазах стройность. Она стала кем-то таким, в чьих поступках я начал видеть логику наряду с известной степенью предсказуемости, кем-то таким, чье мнение о фильме или о конкретном человеке я теперь мог пытаться угадать не спрашивая.

11. Но не всегда было легко выполнять при Хлое роль зеркала. В отличие от обыкновенного, метафорического зеркало никогда не может оставаться в покое. Это активное зеркало, которое должно само *находить* образ, это ищущее, блуждающее зеркало, которое стремится схватить измерения движущейся фигуры, невероятную сложность чужого характера. Это ручное зеркало, и держащая его рука не тверда, поскольку у этой руки собственные задачи и интересы — совпадает ли существующий образ с тем, который хочется найти? «Что ты находишь в ней?» — спрашивает у зеркала ум; «Что ты хочешь в ней найти?» — спрашивает у зеркала сердце.

12. Опасность «самоподтверждения» состоит в следующем: мы нуждаемся в других людях для подтверждения собственного существования, а потому зависим от них в том, будет ли приписанная нам личность соответствовать действительности или нет. Если прав Стендаль, говоря, что без других мы вовсе лишены характера, то человек, разделяющий с нами постель, должен быть исключительно чутким зеркалом — или мы в конце концов претерпим искажения. А что, если наши любимые — плод величайшей ошибки, если на их месте оказались люди, которые из-за недостатка восприимчивости лишают нас части нас самих? И что делать с еще более серьезной опасностью: разве другие по определению (потому что отражающая поверхность никогда не бывает идеально ровной) не должны исказить нас, будь то в лучшую или худшую сторону?

13. Каждый новый человек дает нам новое ощущение себя, поскольку мы всякий раз на какую-то малую долю становимся теми, кем, как другие думают, мы являемся. Наше «я» сравнимо с амебой, оболочка которой пластична, благодаря чему она принимает под влиянием окружающей среды разные очертания. Не то чтобы амeba вовсе была лишена каких-либо *измерений*, просто у нее нет никакой определенной *формы*. Это моя любовь к абсурду, которую склонный к абсурду человек откроет во мне, но и серьезность, которая откроется человеку серьезному, тоже моя. Если кто-то считает меня застенчивым, я в конце концов, вероятно, стану застенчивым, если, на чей-то взгляд, я остроумен, я, похоже, все время буду шутить. Получается замкнутый круг.



Ил. 14.1.

14. Мои родители пригласили Хлою вместе пообедать: все время, пока продолжался обед, она молчала. Когда мы вернулись домой, я спросил ее, что случилось. Она сама не могла этого понять. Она пыталась выглядеть оживленной и заинтересованной, и тем не менее предубеждение, которое двое, сидевшие напротив нее через стол, очевидно, имели на ее счет, мешало ей быть собой. Мои родители открыто не сделали ничего плохого, но что-то в них заставляло Хлою ограничиваться односложными репликами. Это лишний раз доказывало, что процесс, когда окружающие накладывают на нас клеймо, не обязательно должен быть очевиден. Большинство людей не принуждают нас к той или иной роли, они лишь подсказывают нам ее своими реакциями, а следовательно, пусть даже исподволь, но все же препятствуют тому, чтобы мы выходили за пределы данного стереотипа.

15. За несколько лет до этого Хлоя какое-то время встречалась с ученым, сотрудником Лондонского университета. Философ-аналитик, автор пяти книг, публиковавший статьи в целом ряде научных журналов, оставил ей наследство — ничем не заслуженное чувство умственной неполноценности. Как он преуспел в этом? Хлоя снова не могла ответить. Даже

не позаботившись точно выразить это в словах, он смог придать амебе форму, соответствовавшую его собственным взглядам, а именно что Хлоя — очаровательная юная студентка, которой совсем незачем думать и она может спокойно предоставить это ему. И вот, как если бы было произнесено нечто, чему непременно суждено исполниться, Хлоя бессознательно начала действовать в согласии с этим суждением о ее характере, вынесенным со всей определенностью заключительной части семестрового отчета глубокомысленным философом, автором пяти книг и множества статей в целом ряде научных журналов. В конце концов она стала чувствовать себя такой же дурочкой, какой он ее представлял.

16. Хронология приводит к тому, что о ребенке всегда рассказывают с позиции третьего лица («Разве не восхитительный /безобразный /сообразительный /бестолковый ребенок Хлоя?») до тех пор, пока он не становится способен влиять на то, что говорится о нем самом. Выход из детства может быть понят как попытка внести коррективы в расходящееся с истиной повествование других — родителей, рассказывающих нашу историю. Но борьба с перетолковыванием на этом не заканчивается: целая пропагандистская война идет вокруг нашего решения о том, кто мы есть, не одна заинтересованная группировка ведет кампанию с целью утвердить свой взгляд на вещи, заставить замолчать все другие истории. А в результате происходит искажение действительности — или по вине враждебной зависти, или небрежности как следствия безразличия, или из-за нашей собственной слепоты, происходящей от эгоцентризма. Даже любить кого-то означает относиться к этому человеку с великим предубеждением — вы заранее уверены, что он или гений, или первый красавец или красавица, хотя для этого почти нет оснований. Такой подход очень далек от того, который необходим для настоящего понимания — беспристрастного взгляда со стороны, приятное искажение, но все же искажение. Чужой взгляд, в котором мы ищем подтверждение своему существованию, подобен кривым зеркалам: тщедушная фигурка неожиданно оказывается в три метра ростом, стройная женщина расплывается, толстая выглядит худой, наша шея вытягивается, как у жирафа, а ступня становится как у слона, характер предстает ужасным или ангельским, ум — глубоким или скудным, наши ноги — или длинными и тонкими, или пропадают совсем. Как Нарцисс, мы обречены на некоторое разочарование, смотрясь в прозрачные глаза другого человека. *Ни один взгляд не может полностью отразить наше «я».* Мы всегда будем усечены в той или иной своей части, непоправимо или нет.

17. Когда я поделился с Хлоей идеей, что характер чем-то напоминает амебу, она засмеялась и рассказала, что в школе любила рисовать амеб. Потом она взяла карандаш.

— Слушай, дай мне вон ту газету, я нарисую тебе разницу между формой, которую моя я-амеба принимает в конторе, и той, которую она принимает с тобой.

И она нарисовала следующее.



Ил. 14.2.

— Что это за кусочки, похожие на щупальца? — спросил я.

— Это потому, что я чувствую себя рядом с тобой со щупальцами.

— Что?

— Ну, ты мне даешь пространство. Мои чувства сложнее по сравнению с тем, как я ощущаю себя на работе. Ты проявляешь ко мне интерес, и ты лучше понимаешь меня, поэтому я нарисовала ее со щупальцами — так больше похоже на правду.

— Ясно, а эта ровная сторона?

— Где?

— На северо-востоке амебы.

— Знаешь, я никогда не могла различать стороны света. Впрочем, кажется, я догадалась. Ты ведь не все понимаешь во мне, верно? Вот я и постаралась сделать рисунок более правдивым. Прямая линия — те стороны моего характера, которых ты не понимаешь: или у тебя на них не хватает времени, или мозгов.

— М-да.

— Господи, не делай такое лицо, как будто тебе все равно, что будет, если вместо этой прямой появятся щупальца! И если серьезно, не расстраивайся: будь я такой счастливой амебой, я не тратила бы здесь время.

18. Что Хлоя имела в виду, вот так спрямляя сторону своей амебы? Только одно: я не в состоянии *полностью* понимать ее. Ничего удивительного, однако напоминание о границах восприимчивости не было излишним. Что сводило на нет мои усилия? То обстоятельство, что понимание мною ее не могло происходить иначе как через или в связи с уже имевшимися у меня представлениями о человеческой природе. Мое понимание было лишь преломлением того, что я привык ждать от других, в моем знании ее неизбежно сказался весь мой предшествующий опыт жизни в обществе. Как европеец, попавший в Скалистые горы, оглядывая незнакомый ландшафт, говорит себе: «Очень похоже на Швейцарию», так и я мог толковать источник очередного подавленного настроения Хлои, только подумав про

себя: «Это происходит потому, что она чувствует то-то и то-то, как моя сестра тогда-то и тогда-то». Стараясь постичь ее, я мобилизовал все свои знания, полученные в общении как с женщинами, так и с мужчинами. Было задействовано все мое субъективное и потому искаженное понимание человеческой природы, зависящее от моих собственных физиологических особенностей, сословия, страны и душевного устройства.

19. Взгляд влюбленного можно сравнить с шампуром, на который вперемешку с овощами нанизаны кусочки мяса. Учитывая сложность нашей натуры, всякий влюбленный выхватывает одни элементы и оставляет без внимания другие. Например, мой взгляд остановился (или был восхищен, или проник в, или был привлечен) на Хлоиных:

— иронии — цвете глаз — щели между двумя передними зубами — интеллекте — таланте печь хлеб — ее отношениях с матерью — страхе перед обществом — любви к Бетховену — ненависти к безделью — пристрастии к ромашковому чаю — протесте против снобизма — любви к шерстяной одежде — клаустрофобии — требовании абсолютной честности...

Но это не была вся Хлоя. Если взять другой шампур, а вместо меня — другого влюбленного, возможно, осталось бы время для ее:

— предпочтения здоровой пищи — щиколоток — любви к открытым рынкам — математических способностей — отношений с братом — слабости к ночным клубам — мыслей о Боге — энтузиазма по отношению к рису — Дега — катания на лыжах — продолжительных загородных прогулок — возражений против музыки в машине — вкуса к викторианскому стилю в архитектуре...

20. Хотя мой интерес к особенностям Хлоинового характера был осознанным, тем не менее неизбежно возникали моменты больших упрощений, участки, понять которые я был просто не в состоянии — из-за нехватки восприимчивости или зрелости. Я был виновен в самом естественном, но и самом грубом упрощении из всех, а именно в том, что участвовал в Хлоиной жизни как посторонний, воображая себе ее внутреннюю жизнь, но никогда прямо ее не переживая. Нас разделяла пропасть между «я» и «ты», между «я» и «не-я». Мы могли быть сколько угодно близки, но в конечном итоге Хлоя была другим человеком со всей вытекающей отсюда загадочностью и разделявшим нас расстоянием (неизбежная дистанция, нашедшая воплощение в мысли, что каждый умирает в одиночку...).

21. Мы стремимся к любви без прямых границ и прямых линий, — любви, в которой мы не претерпеваем сокращений. Мы болезненно-упрямо сопротивляемся классификации нас другими людьми, когда другие люди приклеивают на нас ярлыки (мужчина, женщина, богатый, бедный, еврей, католик и так далее). Наш протест вызывает не столько то, что эти ярлыки несправедливы, сколько то, что они не удовлетворяют нашему чувству собственной исключительности. Для себя самих мы всегда *вне классификации*. Наедине с собой каждый всегда просто «я», мы скользим между уровнями с наклеенными ярлыками без труда и смущения, которого бы ожидали от нас другие. Однажды, слушая, как Хлоя говорит о «парне, с которым я встречалась несколько лет назад», я вдруг опечалился при мысли, что спустя пару лет (другой мужчина будет сидеть напротив нее над салатом из тунца) она так

же скажет и обо мне: «Тот парень, с которым я встречалась тогда...» Ее случайное обращение в разговоре к прежней любви естественным образом заставило меня взглянуть на все со стороны и понять, что, каким бы неповторимым я ни был для нее сегодня, я тем не менее продолжал оставаться в рамках неких определений («парень», «друг»), что я (при всей своей неповторимости) не что иное, как отражение в Хлоиных глазах.

22. Однако приклеивание ярлыков — процесс неизбежный, в течение всей жизни мы вынуждены получать от других всевозможные характеристики и оценки. Именно поэтому человек, в которого мы в итоге влюбляемся, по определению достаточно хороший *шампур с кусочками мяса*, любит нас более или менее за те самые вещи, за которые, как мы считаем, нас стоит любить, и понимает в нас более или менее те самые вещи, которые, на наш взгляд, заслуживают понимания. То, что мы с Хломебой были вместе, подразумевало, что, по крайней мере тогда, мы давали друг другу достаточно пространства, чтобы принять ту форму, которую требовал ток жидкости внутри нас.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

1. Язык устойчив, и это делает его верным союзником нашей нерешительности. Он дает нам убежище в виде мнимого постоянства и надежности, в то время как мир ежеминутно меняется. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», — сказал Гераклит, имея в виду неизбежную текучесть и оставляя без внимания тот факт, что если слово, указывающее на реку, остается неизменным, то в каком-то важном смысле река, в которую, как нам кажется, мы вступили, та же самая. Я любил женщину, но насколько эти слова способны были выразить всю изменчивость и непостоянство моих чувств? Разве могли они вместить ту неверность, скуку, раздражение, наконец, безразличие, которые часто примешивались к этой любви? Разве есть надежда, что какие угодно слова в состоянии доподлинно воспроизвести ту степень двойственности, на которую, по-видимому, мои чувства были обречены?

2. Я называю свое имя, и это имя остается со мной всю жизнь — «я», запечатленное на моей фотографии в возрасте шести лет, и то, которое мне, Бог даст, предстоит увидеть на своем снимке в шестьдесят, — оба будут подписаны одним и тем же набором букв, хотя время изменит меня почти до неузнаваемости. Я называю дерево деревом, хотя проходит год, и дерево меняется. Но если бы мы называли дерево по-разному в каждое время года, то это вызвало бы слишком большую путаницу, поэтому язык основывается на преимуществах, закрывая глаза на то, что летом на дереве есть листья, а зимой их не будет.

3. Итак, мы идем по пути упрощений, учитывая преобладающий признак (дерева, душевного состояния) и называя целое словом, значение которого отражает лишь часть. Похожим образом наш рассказ о том или ином событии является всего-навсего частью конкретного момента, взятого во всей его полноте; стоит о чем-то рассказать, как это «что-то» тут же теряет свою многозначность и двойственность, взамен получая отвлеченный смысл и приданную автором направленность. Рассказ есть воплощенная скудость вспоминаемого момента. Мы с Хлоей любили друг друга, и наш роман продолжался на протяжении большого промежутка времени. За это время мои чувства так продвинулись по эмоциональной шкале (настолько изменили свое положение в системе координат), что сказать только, *что мы любили друг друга*, означало бы грубо исказить события, представив их в одном узком ракурсе. Стремясь к краткости и одержимые идеей упрощений, мы обречены рассказывать и вспоминать с пропусками, иначе нам грозит стать жертвой собственной многозначности и собственной изменчивости. Настоящее теряет яркость, переходя сначала в историю, а потом — в ностальгию.

4. Мы провели вместе два чудесных дня в Бате. Были на развалинах римских терм, поужинали в итальянском ресторане, а в воскресенье совершили прогулку по окрестностям. Что осталось от этой поездки в Бат? Несколько моментальных фотографий, которые запечатлела память, — малиновые занавески в гостиничном номере, где мы ночевали, вид городка из поезда, парк, часы над камином. Таков зрительный ряд. Воспоминания о том, что я чувствовал тогда, еще более отрывочны. Я помню, что был счастлив, помню, что я любил Хлою. Но если я начинаю усиленно думать, заставляя себя вспоминать вещи помимо тех, что

приходят сразу на ум, и потому могут служить основанием для выводов, передо мной вдруг предстает более сложная картина: усталость в залах музея, запруженных народом, беспокойство, которое не давало мне заснуть вечером в субботу, легкое несварение желудка после телячьей отбивной, скука ожидания на вокзале в Бате, спор с Хлоей в такси.

5. Мы, скорее всего, должны простить языку его лицемерие, поскольку он дает нам возможность определить время, проведенное в Бате, одним словом — как *приятное* и таким образом установить надлежащие порядок и тождество. И все же иногда приходится дать себе отчет в течении под словом — в воде, утекающей под рекой Гераклита. И в этот момент вдруг ощущаешь тоску по простоте, свойственной вещам, слова же — всего лишь солдаты, охраняющие вверенные им рубежи. Я любил Хлою — как легко это произнести: слова звучат, как если бы речь шла о любви к Марселю Прусту или яблочному соку. И в то же время насколько сложнее была реальность — настолько сложна, что все во мне восстает против того, чтобы сказать хоть что-нибудь определенное о любом из моментов: ведь, называя одно, я тут же оставляю без внимания другое, во всяком утверждении неизбежно заключена идея дискриминации тысячи противоположных утверждений.

6. Когда подруга Хлои Алиса пригласила нас вечером в одну из пятниц к себе на ужин, Хлоя согласилась и предсказала, что я непременно влюблюсь в нее. Нас было восемь человек за столом, и мы, пытаясь донести до рта еду, все время задевали друг друга локтями, поскольку стол был рассчитан на четверых. Алиса жила одна на последнем этаже дома в Бэлхаме, работала секретарем в Совете по искусствам, и, должен признать, я действительно немножко влюбился в нее.

7. Можно быть сколько угодно счастливым с кем-то, и любовь к нему будет служить надежной защитой (если предположить, что действие происходит в обществе, где принята моногамия) от того, чтобы решиться вступить в другую связь. Но почему это должно нас смущать, если мы по-настоящему любим его? Почему мы должны воспринимать это как потерю при условии, что наша любовь еще не подает признаков увядания? Ответ, скорее всего, содержится в той малоутешительной мысли, что, удовлетворяя свою потребность в любви, нам не всегда удастся утолить свою потребность в стремлении.

8. Наблюдая, как Алиса говорит, как она зажигает погасшую свечу, как торопится на кухню с тарелками и смахивает со лба прядь светлых волос, я вдруг обнаружил, что ощущаю нечто вроде романтической ностальгии. Романтическая ностальгия находит на человека, когда на его пути встречается кто-то, кто мог бы стать его возлюбленным, но кого по воле судьбы он никогда не узнает. Возможность альтернативной любви заставляет вспомнить о том, что жизнь, которой живет каждый из нас, всего лишь одна из миллиарда возможных жизней — именно невозможность прожить их все, наверное, и погружает нас в печаль. В этом чувстве — стремление вернуться к временам, когда перед нами не стояла необходимость выбора, свободного от грусти при неотвратимой потере, которую неизбежно влечет за собой всякий (пусть даже самый прекрасный) выбор.

9. На городских улицах и в оживленных ресторанах я часто невольно приходил к мысли о том, что существуют сотни (скорее, даже миллионы) женщин, чьи жизни протекают параллельно с моей, но кому суждено было остаться для меня загадкой. Хотя я и любил

Хлою, вид этих женщин иногда вызывал во мне сожаление. В ожидании поезда или в очереди в банке мне случалось остановить взгляд на конкретном лице, может быть, услышать обрывок разговора (у кого-то разбилась машина, кто-то закончил университет, заболела мама...), почувствовать на долю секунды сожаление от того, что не смогу узнать конца истории, и искать утешение в том, чтобы самому придумать подходящую развязку.

10. Я мог поговорить с Алисой, сидя рядом на диване после ужина, но что-то заставило меня отказаться от каких-либо действий и ограничиться мечтами. Ее лицо вызвало отклик внутри меня, заставив ощутить некую пустоту, не имевшую выраженных очертаний и направленности, которую моя любовь к Хлое каким-то образом не смогла заполнить. Неизвестное вооружено зеркалом, в котором отражаются все самые сокровенные, все самые невыразимые наши желания. Неизвестное — это роковой вызов, который лицо по ту сторону комнаты всегда будет бросать лицу знакомому. Возможно, я любил Хлою, но именно потому, что я знал ее, я не мог чувствовать *влечение* к ней. Влечение не может со свойственной ему неопределенностью избирать своим предметом тех, кого мы знаем. Все их достоинства и недостатки уже нанесены на карту и потому лишены необходимой таинственности. Лицо, возникшее перед нами на несколько минут или часов, чтобы затем исчезнуть навеки, обязательно дает повод к мечтам, которые невозможно выразить словами, обращаясь к бездонной пропасти, желанию непомерной глубины, разверзающемуся внутри нас, столь же безграничному, сколь и неутолимому.

11. — Ну что, ты влюбился в нее? — спросила Хлоя в машине.

— Конечно, нет.

— Она в твоём вкусе.

— Нет, она не в моём вкусе. Так или иначе, ты знаешь, я люблю тебя.

Обычный сценарий измены — один из партнеров спрашивает другого: «Как ты мог изменить мне с Х, когда сам говорил, что любишь меня?» Но между изменой и объяснением в любви нет противоречия, если принять в расчет время. «Я люблю тебя» не может означать ничего, кроме «Я люблю тебя *сейчас*». Я не лгал Хлое, говоря ей по дороге домой, возвращаясь с вечеринки у Алисы, что люблю ее. Но мои слова не могли и не должны были быть ничем иным, кроме как обещанием, относящимся к данному моменту.

12. Если мои чувства к Хлое менялись, это происходило не в последнюю очередь потому, что она сама не оставалась неизменной, а все время сдвигала связь слова и значения. То, что она не меняла работу и номер телефона, было лишь иллюзией, а скорее всего, упрощением. Внимательный взгляд обнаруживал на ее лице малейшие изменения в ее душевном и физическом состоянии, ухо улавливало изменение интонации в зависимости от того, с кем она говорила или какой посмотрела фильм, ее плечи опадали, когда она уставала, вес увеличивался пропорционально возрастанию самооценки. Существовало лицо, которое бывало у нее по понедельникам и которое бывало по пятницам; ее глаза, когда ей было грустно и когда она только что проснулась; вены на ее руке, когда она читала газету и когда мылась в душе. Было ее лицо, какого не бывает у десяти ангелов, через стол, приближающееся, за мгновение до поцелуя, и было ее лицо на платформе в ожидании поезда. Была Хлоя со своими родителями и Хлоя со своим возлюбленным, Хлоя улыбающаяся и Хлоя, вычищающая при помощи зубной нити остатки еды.

13. Наверное, я должен был полностью посвятить себя ее биографии, чтобы изучить и нанести на карту все эти изменения; вместо этого я предавался привычной лени. Усталость часто приводила к тому, что богатейшая часть Хлоиной жизни — ее движение — оставалась мне недоступна. В течение длительных промежутков времени я мог не замечать (поскольку она делалась мне все более привычной) всех перемен в ее лице и теле, разницу между Хлоей в понедельник и Хлоей в пятницу. Идея Хлои стала привычкой, устойчивым образом, стоявшим перед моим духовным взором.

14. Но тем не менее неизбежно случались моменты, когда привычная гладкая оболочка рвалась и мне еще и еще раз выпадало прямо взглянуть на нее глазами человека, который никогда прежде ее не видел. Однажды в выходной день на шоссе у нас случилась поломка и пришлось просить помощи. Когда четверть часа спустя возле нас остановился полицейский фургон, Хлоя пошла разбираться с сержантом. Я наблюдал, как она разговаривает с незнакомым человеком, как бы отождествляя ее с ним, и вдруг женщина, которую я хорошо знал, показалась мне абсолютно незнакомой. Я смотрел на ее лицо, слушал ее голос, не заглушаемый покровом близкого знакомства, лишаящего свежести краски, и видел ее такой, какой она бы предстала перед кем-то, кто впервые остановил на ней свой взгляд. Перестав воспринимать ее такой, какой привык видеть, я посмотрел на нее без той предвзятости, которую навязало мне время.

15. И внезапно, пока я слушал их разговор о свечах зажигания и масляных фильтрах, меня охватило неконтролируемое желание. Разрыв привычки повлек за собой эффект отдаления, делая Хлою незнакомой и неожиданной, а потому желанной, как может быть желанен только тот, к чьему телу еще ни разу не прикасался. Сержанту дорожной службы понадобилась пара минут, чтобы установить неисправность, — нужно было что-то поправить в батарее, — после чего мы могли продолжить свой путь в Лондон. Но мое желание распорядилось иначе.

Нам нужно остановиться, найти гостиницу или припарковаться на обочине. Мы должны заняться любовью.

Почему? Что случилось? Что ты делаешь? Пожалуйста, подожди, Господи... не надо, слышишь?.. Ладно, лучше я остановлю машину. Давай свернем здесь...

16. Привлекательность Хлои в роли незнакомки напомнила о связи, существующей между движением и сексуальностью, я имею в виду движение от одетого тела к раздетому. Мы остановились на обочине трассы М4. Моя рука принялась ласкать ее грудь через тонкую ткань платья — эротическое возвращение к тому, что перед тем отдалилось, к телу, которое было потеряно и вновь обретено. Сводящее с ума расстояние между наготой и одеждой, знакомым и незнакомым, переходом и инициацией.

17. Мы дважды возобновляли свое занятие на заднем сиденье Хлоино «фольксвагена», среди разных сумок и старых газет. Несмотря на полученное удовольствие, наше внезапное и непредсказуемое желание, заставившее нас буквально вцепиться в одежду и плоть друг друга, напоминало о том, насколько разрушительным может быть прилив страсти. Захваченные желанием и сметенные им с трассы на обочину, разве не могли мы днем позже точно так же разбежаться под влиянием другого гормона? Для того чтобы усмотреть в наших

чувствах цикличность, требовался, пожалуй, слишком высокий уровень логики. Наша любовь скорее напоминала схождение с гор мутного потока, чем спокойную смену лета, осени, зимы и весны.

18. У нас с Хлоей была игра, практика в духе Гераклита, признававшая текучесть наших эмоций и лишавшая силы общепринятое представление, что светоч любви должен гореть с постоянством электрической лампочки.

— Что-нибудь не так? Я тебе сегодня не нравлюсь? — спрашивал один из нас.

— Ты нравишься мне меньше.

— Да? А насколько меньше?

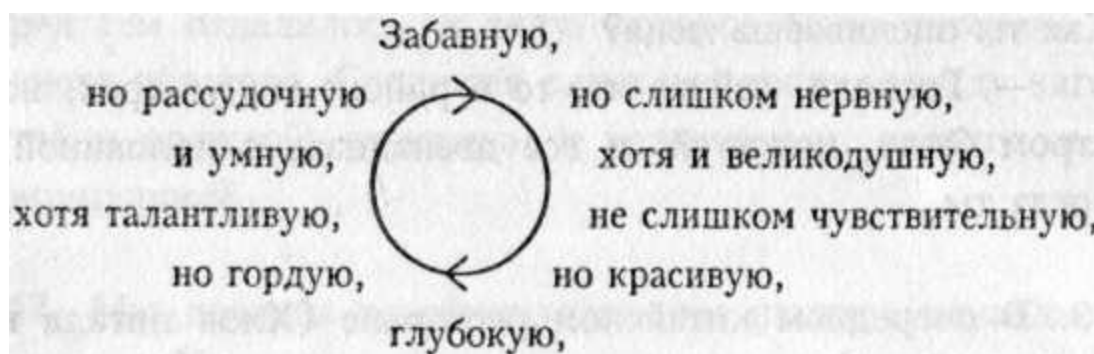
— Ненамного.

— По десятибалльной шкале?

— Сегодня? Ну, наверное, на шесть с половиной, или нет, больше, на шесть и три четверти. А как у тебя? Как ты оцениваешь меня?

— Господи, сейчас что-то в районе минус трех, но утром были, пожалуй, и все двенадцать с половиной, когда ты...

19. В очередном китайском ресторане (Хлоя питала к ним слабость) я вдруг понял, что встречи с другими людьми больше всего похожи на вмонтированное в середину стола колесо с расставленными на нем блюдами, которое можно поворачивать, так что если сейчас перед тобой креветки, то в следующую минуту может быть уже свинина. Разве любовь к человеку не следует тому же образцу, когда хорошее и плохое поочередно сменяют друг друга? Подвижные во всем прочем, мы самым жалким образом привязаны к идее постоянства в человеческих отношениях, так же как и к представлению о якобы непроницаемой перегородке, разделяющей любовь и нелюбовь, той, которую можно пройти лишь дважды, в начале романа и в его конце, — дважды, а не пересекать ее по нескольку раз в день, даже в час! Мы пытаемся силой развести любовь и ненависть, вместо того чтобы увидеть в них свой вполне законный ответ на различные стороны одного характера. Так проявляет себя детская потребность любить абсолютное добро и ненавидеть абсолютное зло, желание иметь один объект, безусловно отвечающий нашему инстинкту любви, и другой, столь же безусловно заслуживающий ненависти. Но с Хлоей не могло быть и речи о подобном постоянстве. Я мог буквально в одну секунду повернуть кругом ее китайский стол со всеми его угощениями, принимая во внимание вызванные этим головокружение и путаницу. Я мог воспринимать ее как:



Ил. 15.1.

20. Часто было трудно предугадать, на чем остановится колесо, делая поворот от одного чувства к другому. Видя, как Хлоя сидит в какой-нибудь позе, или слыша ее слова, я мог

внезапно ощутить сильное раздражение против нее, хотя лишь за несколько минут до того все было сплошным сиропом и ни облачка на небе. В своих проявлениях я был не одинок, поскольку Хлоя тоже могла обнаруживать в отношении меня неожиданную агрессию. Однажды вечером, когда мы обсуждали в компании какой-то фильм, она ни с того ни с сего обрушилась на меня, обвиняя в якобы покровительственном тоне, с которым я позволяю высказываться о вкусах и мнениях других людей. Сначала я не мог взять в толк, что это она, поскольку еще не успел ничего сказать, потом сообразил, что, наверное, ее задело что-то из того, что было сделано мной прежде, и что сейчас она использует возможность поквитаться со мной, или еще: что кто-то другой расстроил ее, а я в данном случае замещаю отсутствующего обидчика. Многие наши споры были отмечены подобной нечестностью по отношению друг к другу, поскольку служили поводом выразить чувства, не относящиеся к настоящему моменту или даже вовсе никак не связанные с партнером. Мне случалось ополчиться на Хлою за то, что она с излишним шумом вынимала посуду из посудомоечной машины, когда я пытался смотреть вечерние новости, хотя на самом деле причиной моего раздражения были чувство вины и беспокойство по поводу одного неприятного звонка, на который я не ответил днем. Хлоя, в свою очередь, могла шуметь нарочно, проявляя свое плохое настроение, о котором она не сказала утром. (Пожалуй, можно было бы определить зрелость — эту цель, которая все время ускользает, — как способность воздавать каждому то, что он заслуживает и когда он этого заслуживает, умение отделять чувства, которые нужно держать при себе, от тех, которые следует тотчас же выражать вызвавшим их людям, а не переносить на других, которые пришли позже и ни в чем не виноваты.)

21. Можно удивляться, почему те, кто, по их словам, нас любит, в то же время питают в отношении нас явно несправедливую враждебность и обиды. Мы скрываем в себе огромное количество противоречивых чувств, толстые напластования детских переживаний, которые мы почти или совсем не в состоянии контролировать. Беспричинная жестокость, поползновения к каннибализму, деструктивные фантазии, бисексуальность, приступы паранойи, свойственной детскому возрасту, — все это намешано внутри наших более зрелых эмоций. «Мы никогда не должны говорить о человеке, что он злой, — писал французский философ Ален^[45], — нужно только отыскать иголку», — другими словами, найти раздражитель, стоящий за спором или агрессией. Мы с Хлоей были в любой момент готовы попытаться сделать это, но сложности — все, начиная с прихотливого поведения сексуальных импульсов и заканчивая последствиями травм, полученных в детстве, — подчас оказывались слишком велики и брали верх над нашими усилиями.

22. Если философы традиционно высказывались в пользу жизни, прожитой в соответствии с законами разума, во имя него, предавая поруганию жизнь, направляемую страстями, это происходило потому, что разум — краеугольный камень постоянства, он никак не ограничен во времени и не имеет срока годности. В отличие от романтика, философ ни на мгновение не позволит его или ее интересу бездумно переключиться с Хлои на Алису и обратно на Хлою, потому что всякий сделанный выбор покоится на твердом основании разумных причин. В своих желаниях философы готовы считаться лишь с эволюцией, но не с порывом. В любви они останутся верными и постоянными, их жизнь так же предсказуема, как полет стрелы.

23. Но что еще более важно, философ будет всегда гарантированно *тождественен*. Что такое тождественность? Ее, скорее всего, следует искать в том, к чему человек чувствует склонность: «Я — то, что мне нравится». Вопрос «Кто я?» является лишь расширенной постановкой другого вопроса — «Что мне нужно?». Если в возрасте десяти лет от роду я полюбил гольф, а сейчас мне исполнилось сто двадцать и я все еще отдаю предпочтение этому виду спорта, то моя тождественность (одновременно как игрока в гольф и косвенным образом как личности) выдержала экзамен на постоянство. Если я пребываю в католической вере с двух и до девяноста лет, значит, я способен избежать кризиса тождественности, который переживает еврей, в тридцать пять просыпающийся с желанием стать епископом или папой, а в конце своей жизни принимающий ислам.

24. Для эмоционального человека жизнь предстает совсем другой, полной головокружительных поворотов стрелки вокруг всего циферблата, ведь то, *чего он хочет*, меняется с такой быстротой, и поэтому то, *чем он является*, постоянно находится под вопросом. Если такому человеку сегодня нравится Саманта, а завтра — Салли, то кто он сам? Если я ложусь вечером с мыслью, что люблю Хлою, а на следующее утро просыпаюсь с ненавистью к ней, то *кто*, в конце концов, я? Я никогда полностью не отказывался от идеи стать более разумным человеком. Просто мне пришлось столкнуться со сложной проблемой, найти прочные основания своей любви и нелюбви к Хлое. Объективно ни для того, ни для другого не существовало сколько-нибудь серьезных причин, и это делало мои случившиеся порой колебания еще более труднообъяснимыми. Если бы имелись четкие, неоспоримые (я имею в виду с логической точки зрения) основания для любви или ненависти, то были бы и некие отправные точки, к которым можно было бы вернуться. Но как щель между двумя передними зубами никак не могла служить объективным поводом очертя голову бросаться любить ее, так разве мог я со всей серьезностью привести ее манеру чесать локоть в качестве побудительной причины для своей ненависти? Несмотря на множество оснований, которые приходят нам на ум, мы никогда не можем быть более чем наполовину уверены в действительной подоплеке своей привязанности (*а потому необратимый и трагический процесс угасания любви предполагает...*).

25. В этом находила отражение противостоящая различным проявлениям непоследовательности тяга человека к постоянству: *поддержание устойчивого эмоционального окружения*. Такое стремление умеряло колебания, будучи нацелено на сохранение стабильности и исключение катаклизмов, отдавая предпочтение последовательности и связности. Желание сохранить равновесие заставило меня придерживаться в своем рассказе о нас линейной композиции, удерживая меня, когда у меня могло возникнуть желание развить второстепенный сюжет, отойти от основной линии или поставить ее под вопрос, как это свойственно больной шизофренией современной словесности. Пробуждаясь после эротического сна, в котором фигурировали некие два лица, виденные за день до того в магазине и прихотливо слившиеся в моем воображении в одно, я тут же приходил в себя, обнаружив рядом с собой Хлою. Я усреднял свои возможности, я возвращался к роли, предписанной мне моим романом, я склонялся перед непререкаемым авторитетом того, что уже существует.

26. Колебания удерживались под контролем непрерывностью обыденной жизни и более

устойчивыми представлениями окружающих. Вспоминаю ужасную ссору, случившуюся однажды в субботу незадолго до прихода друзей, приглашенных к нам на чашку кофе. В тот момент ссора казалась нам обоим настолько серьезной, что еще немного — и мы готовы были бы распрощаться навсегда. Однако предполагаемое окончательное расставание отложилось благодаря появлению друзей, которые не должны были видеть ничего подобного. За кофе счастливой паре адресовались вопросы, говорившие о том, что гости и представления не имеют о возможном разрыве и тем самым помогают избежать его. Общество других людей уменьшило амплитуду наших метаний; в то время как мы не имели ясного представления, чего на самом деле хотим, а следовательно, кто мы, мы могли спрятаться за успокаивающим анализом тех, кто находился по ту сторону и в своих суждениях целиком полагался на связность сюжета, не допуская мысли о том, что в нашем романе ничто не было задано раз и навсегда.

27. Когда настроение у нас бывало получше, мы, кроме того, искали утешения в мыслях о будущем. Поскольку всегда существовала угроза, что любовь закончится так же внезапно, как началась, естественно было, что мы пытались придать вес настоящему, строя совместные планы на будущее — оно должно было продлиться долго, по меньшей мере, до нашей смерти. Мы мечтали о том, где будем жить, сколько у нас будет детей, как мы обеспечим себе старость, мы представляли себя стариками, выводящими внуков на прогулку и прогуливающимися под ручку в Кенсингтон Гарденс. Защищая себя перед лицом кончины нашей любви, мы с радостью придумывали, как будем жить вместе долгие и долгие годы. Поблизости от Ноттингхилла были дома, которые нравились нам обоим и которые мы в своем воображении обустроивали, дополняя их двумя маленькими студиями под крышей, просторной современной кухней с новенькой бытовой техникой на первом этаже и садом, полным цветов и деревьев. Пусть никогда не было похоже, что дело пойдет так далеко, *мы непременно должны были верить, что для этого нет никаких препятствий*. Разве в силах человек любить кого-то и одновременно представлять себе разрыв с ним, женитьбу на ком-то еще и обустройство дома с этим другим? Нет, для нас было насущной необходимостью видеть мысленным взором, как мы будем вместе стареть, как отправимся на покой и поселимся, уже обзаведясь вставной челюстью, в домике у моря. Если бы мы поверили в это, нам, возможно, затем пришло бы в голову пожениться — самая жестокая из одобряемых законом попыток принудить сердце к вечной любви.

28. Мое нежелание говорить с Хлоей о ее прежних возлюбленных, скорее всего, объяснялось тем же стремлением видеть все это длящимся вечно. Эти экс-возлюбленные напоминали мне, что вещи, о которых я готов был думать, что они будут длиться вечно, в жизни проявляют себя совершенно иначе и что мои отношения с Хлоей может постигнуть та же участь. Однажды вечером в книжном магазине Хейворд-гэллери я вдруг увидел свою прежнюю подругу, листавшую книгу о Пикассо рядом с полкой у противоположной стены. Хлоя стояла за несколько шагов от меня, выбирая открытки, чтобы послать их друзьям. Пикассо когда-то много значил для меня и этой моей бывшей приятельницы. Ничего не мешало мне подойти и сказать ей «привет». В конце концов, я был знаком с несколькими бывшими возлюбленными Хлои, бывшими с ней до меня, со многими из которых она продолжала поддерживать дружеские отношения. Однако причина дискомфорта скрывалась именно во мне: дело в том, что эта женщина стала живым напоминанием изменчивости

моих чувств, о чем я предпочел бы не вспоминать. Я боялся, что факт близости, некогда соединявшей меня и ее, а впоследствии утраченной, мог вдруг повести себя как закономерность, повторившись и с Хлоей.

29. Трагедия любви состоит в том, что она не может оказаться вне временных координат. В обществе того, кого любишь в данный момент, особенно жестокой кажется мысль о равнодушии, испытываемом тобой по отношению к тем, кого любил раньше. Есть что-то отталкивающее в сознании того, что человек, ради которого сегодня ты готов пожертвовать всем, спустя несколько месяцев может побудить тебя перейти на другую сторону улицы (или книжного магазина), лишь бы избежать встречи с ним. Я понимал: если моя любовь к Хлое в этот момент составляет важнейшую часть моего существа, то бесповоротный конец моей любви к ней будет означать никак не меньше чем смерть части меня самого.

30. Если мы с Хлоей продолжали, несмотря на все, о чем было сказано, верить в нашу любовь, это происходило, скорее всего, потому, что в конечном счете моменты, в которые мы любили друг друга, перевешивали (хотя бы на время) минуты скуки и безразличия. И все же от нас никогда не скрывалась истина: то, что мы решили называть любовью, на самом деле было аббревиатурой гораздо более сложной и в итоге менее приятной реальности.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

БОЯЗНЬ СЧАСТЬЯ

1. Один из главных недостатков любви состоит в том, что она, по крайней мере на короткое время, угрожает сделать нас счастливыми.

2. Мы с Хлоей решили отправиться в Испанию в последнюю неделю августа — путешествие (как и любовь) есть попытка сделать мечту реальностью. В Лондоне мы ознакомились с предложениями «Утопия Трэвэл», ведущего специалиста по аренде жилья в Испании, и остановили выбор на благоустроенном доме в селении Арас-де-Альпуенте в горах западнее Валенсии. В действительности дом выглядел даже лучше, чем на фотографиях. Комнаты с простой, но удобной мебелью, в ванной горячая вода, терраса, затененная листьями дикого винограда. В озере поблизости можно было купаться, сосед-крестьянин держал козу, он обрадовался нам и дал оливкового масла и сыра.

3. Мы прилетели ближе к вечеру, взяли напрокат машину в аэропорту и поехали по узким горным дорогам. Приехав, сразу пошли купаться, ныряли в чистой голубой воде, а потом сохли в лучах закатного солнца. Искупавшись, мы вернулись в дом и сидели на террасе за бутылкой вина и оливками, любуясь тем, как солнце садится за холмы.

— Что за красота! — воскликнул я.

— Что за красота, — эхом отозвалась Хлоя.

— Неужели это — красота? — пошутил я.

— Замолчи, ты все испортишь.

— Нет, я серьезно, действительно великолепный вид. Никогда бы не поверил, что такое место существует на самом деле. Кажется, что оно отрезано от всего остального, как рай, который никому не пришло в голову разрушить.

— Я бы провела здесь всю оставшуюся жизнь, — вздохнула Хлоя.

— И я тоже.

— Мы могли бы жить здесь вдвоем, я бы ухаживала за козами, ты бы окапывал оливковые деревья, мы бы писали книги, рисовали и...

— С тобой все в порядке? — спросил я, увидев, как она вдруг поморщилась от боли.

— Да, теперь прошло. Не знаю, что это было. У меня ни с того ни с сего вдруг ужасно заболела голова, как-то задергалось. Думаю, ничего. Черт, вот опять начинается.

— Дай я пощупаю.

— Ты ничего не почувствуешь, это внутри.

— Я знаю, но я попробую себе представить.

— Господи, мне лучше лечь. Это из-за путешествия, или от высоты, или еще от чего-то. Пожалуй, пойду в комнату. Оставайся здесь, со мной все будет в порядке.

4. Хлое не стало лучше. Она приняла аспирин и легла в постель, но заснуть ей так и не удалось. Не зная, насколько серьезно ее недомогание, и встревоженный из-за ее всегдашней склонности преуменьшать проблему, когда на самом деле все обстоит гораздо хуже, чем кажется, я решил позвать врача. Сосед с семьей как раз садился ужинать, когда я постучал к ним и спросил на ломаном испанском, где находится ближайший врач. Врач, как оказалось,

жил в Виллар-дель-Арсобиспо — деревне, расположенной примерно в двадцати километрах от нашей.

5. Доктор Сааведра выглядел неожиданно представительным для деревенского врача. Он носил светлый льняной пиджак, когда-то в пятидесятые годы проучился семестр в Королевском колледже, был поклонником английского театра и, казалось, почел за удовольствие помочь девушке, только приехавшей в Испанию и сразу заболевшей. К тому времени, когда мы добрались до Арас-де-Альпуенте, состояние Хлои не стало лучше. Я оставил ее наедине с врачом и ждал, волнуясь, в соседней комнате. Доктор появился через десять минут.

— Нет никаких оснований для беспокойства.

— Она поправится?

— Да, мой друг, утром все будет хорошо.

— Что с ней было?

— Ничего особенного: немного живот, немного голова — очень-очень часто встречается у приезжих. Я дал ей таблетки. Всего только маленькая ангедония, а вы что думали?

6. Доктор Сааведра диагностировал случай так называемой *ангедонии*, заболевания, определяемого Британской медицинской ассоциацией как реакция, примечательно близкая к горной болезни, вызываемая внезапным страхом перед угрозой счастья. Такое состояние не редкость среди туристов, приезжающих в эту часть Испании. Внезапно осознав посреди идиллического ландшафта возможность земного рая, они становятся жертвой сильнейшей реакции организма, направленной на то, чтобы нейтрализовать саму такую возможность.

7. Проблема счастья состоит в его редкости, когда же оно настигает нас, тут же возникают необъяснимый ужас и беспокойство, сопряженные с его приятием. Так вот, мы с Хлоей (хотя я и не заболел), пусть не отдавая себе в этом отчета, всегда тяготели к тому, чтобы поместить *гедонию* или в воспоминания, или в ожидание. Поиски счастья могли сколько угодно провозглашаться основной целью существования, их все равно сопровождала уверенность, что подобный аристотелизм найдет свою реализацию лишь где-то в очень отдаленном будущем. Идиллия Арас-де-Альпуенте поставила эту уверенность под сомнение — так же как, пусть в меньшей степени, идиллия наших объятий.

8. Почему мы выбрали такой путь? Возможно, потому, что радоваться в настоящем означало бы вовлекать себя в несовершенную или опасно зыбкую реальность вместо того, чтобы прятаться за удобной верой в жизнь после жизни. Жизнь в *законченном будущем*^[46] означала, что мы открыто противопоставляем идеальную жизнь действительности, она была призвана спасти нас от необходимости вручить себя настоящему моменту. Схожая модель встречается в тех религиях, где земная жизнь рассматривается как всего лишь прелюдия к вечной и намного более приятной жизни на небесах. В нашем отношении к праздникам, вечеринкам, работе и, наверное, к любви было что-то от бессмертия, как если бы мы жили на земле уже достаточно давно, чтобы не снисходить до мысли о том, что всему этому когда-то настанет конец, а поэтому нужно изо всех сил стараться извлечь из них удовольствие. Жизнь в законченном будущем имеет свои преимущества: нет потребности ощущать

реальность происходящего, равно как и сознание, что мы должны любить друг друга или умереть.

9. Если Хлоя теперь заболела, не была ли вероятной причиной этого схватка, в которую настоящее вступило с ее неудовлетворенностью? На короткое мгновение не осталось ничего, чего не доставало бы ему по сравнению с тем, что могло сулить будущее. Но не был ли я настолько же виноват в этой болезни, как и сама Хлоя? Разве не случалось много раз, чтобы во имя безымянного будущего я грубо пренебрегал удовольствиями, которые сулило настоящее? Разве в своих любовных связях я — почти неуловимо — не удерживал себя от того, чтобы любить изо всех сил, находя утешение в бессмертной мысли, что будут другие романы, в которых я когда-нибудь попытаю счастья с беспечностью мужчин с журнальных обложек, — будущие любви, которые возместят мне отчаянные попытки найти общий язык с другим существом, кого судьба заставила попить землю примерно в одно время со мной?

10. Но устремленность в будущее, которое никогда не наступает, лишь другая сторона устремленности во время, которое всегда оказывается прошедшим. Не является ли часто прошлое лучшим просто потому, что оно прошлое? Я помнил, что в детстве каникулы казались чудесными, только когда подходили к концу, поскольку только тогда чувство тревоги за настоящий момент можно было свести к нескольким достойным воспоминаниям эпизодам. То, что происходило на самом деле, было даже не столь важно, как то, что это все должно было произойти в самое ближайшее время, после чего мне оставалось бы залечивать рану или переигрывать все заново. Когда я был маленьким, то весь год с нетерпением дожидался зимних каникул. В это время вся семья выезжала из Цюриха, чтобы провести две недели, катаясь на лыжах в Энгадине. И вот когда в конце концов я стоял на вершине склона и смотрел на уходящую вниз девственно белую, нетронутую лыжню, я всякий раз ощущал беспокойство, которому было суждено улетучиться из воспоминаний об этом событии — воспоминаний, составленных исключительно из объективных деталей (вершина горы, ослепительный день) и поэтому свободных от всего, что превращало сам момент в сущий ад. Здесь являло себя нечто большее, чем тот конкретный факт, что у меня текло из носа, или я хотел пить, или забыл шарф, и это лишало настоящее его привлекательности — здесь было неприятие того, что я наконец собрался в реальной жизни осуществить ту возможность, которая в течение года так удобно помещалась мною в лоно будущего. Само катание на лыжах, засунутое между пускающим слюнки ожиданием и радужными воспоминаниями, не теряя времени, несло по склону настоящего. Лишь я достигал подножия горы, я оглядывался назад и говорил себе, что это был поистине мастерский и великолепный спуск. И так проходили каникулы в горах (а также в основном и вся моя жизнь): предвкушение утром, беспокойство в момент осуществления и приятные воспоминания вечером.

11. Долгое время что-то от этого временного парадокса содержалось и в моих отношениях с Хлоей: я мог провести целый день, думая о предстоящем ужине с ней, мог после уйти домой полным самых лучших впечатлений, но при этом оказаться лицом к лицу с реальностью, неизменно уступавшей предвкушению и воспоминаниям о ней. Так случилось однажды вечером, накануне отъезда в Испанию: проводя время с Хлоей и другими друзьями в плавучем доме, где жил Уилл Нотт, я, именно потому, что все было так чудесно, впервые признался себе в своем давнишнем недоверии по отношению к настоящему. Настоящее по

большой части пребывает слишком несовершенным, чтобы напоминать нам о том, что болезнь жизни в *настоящем незаконченном*^[47] скрыта внутри нас и никак не связана с внешним миром. Однако в тот вечер в Челси не было буквально ничего, что я мог бы поставить в вину текущему моменту, а потому был вынужден осознать, что проблема заключена внутри меня: еда была на высоте, со мной были друзья, Хлоя прекрасно выглядела, сидела рядом и держала меня за руку. И все же меня не оставляло знакомое чувство, что что-то не так, и я ждал и не мог дождаться, пока это событие уйдет в прошлое.

12. Судя по всему, неспособность жить в настоящем вызывается страхом перед осознанием, что то, к чему стремился всю жизнь, наконец осуществилось, — страхом покинуть сравнительно безопасную позицию предвкушения и воспоминаний, — означавшем бы молчаливое признание факта, что (оставив в стороне вмешательство сверхъестественных сил) мы все проживаем свою одну-единственную жизнь. Если мы представим свое возможное участие в происходящем в виде какого-то количества яиц, то препоручение себя действительности равнозначно риску положить все яйца в одну корзину, вместо того чтобы разложить их по двум корзинам — настоящего и будущего. Если же это перенести на любовь, получается, что, признав окончательно и бесповоротно, что я счастлив с Хлоей, я таким образом признал бы и то, что, несмотря на опасность, все мои яйца лежат в ее корзине.

13. Не знаю, что это были за таблетки, которые ей дал наш чудесный врач, но утром Хлоя выглядела уже вполне здоровой. Мы взяли с собой еду и снова отправились к озеру, где провели день, купаясь и читая у воды. За эти десять дней в Испании, я думаю (насколько здесь можно полагаться на память), мы оба впервые отважились жить в режиме настоящего времени. Такая жизнь не всегда означала блаженство; беспокойство, источником которого было даруемое любовью непостоянное счастье, с извечным постоянством находило выход в ссоре. Мне вспоминается ужасный скандал в деревне с названием Фуэнтелеспино-де-Мойя, где мы остановились позавтракать. Он начался с шутки насчет моей бывшей подружки, из-за чего в сознании Хлои явилось подозрение, что я до сих пор люблю ее. Никакое другое предположение не могло отстоять от реальности дальше, но я тем не менее увидел здесь признак того, что собственные чувства Хлои ко мне близки к угасанию, в чем тут же и стал ее обвинять. Когда споры, обиды и примирения подошли к концу, день был в разгаре и нам оставалось удивляться, к чему был весь этот крик и слезы. Подобное случалось не раз. Помню, как однажды поблизости от деревеньки Лоса-дель-Обиспо мы спорили о том, надоели мы друг другу или нет, или другой случай, у Сот-де-Хера, когда я сказал Хлое, что она не умеет читать карту, а она в ответ выдвинула против меня обвинение в картографическом фашизме.

14. Причинами таких ссор никогда не было то, что лежало на поверхности: пусть Хлоя сколько угодно не могла разобраться в путеводителе «Мичелин», пусть я терпеть не мог кружить на машине по испанской глубинке, — существовали гораздо более серьезные причины для беспокойства. Сила наших взаимных обвинений, их бросающееся в глаза неправдоподобие доказывало, что мы спорили не потому, что ненавидели друг друга, а потому, что любили друг друга слишком сильно. Чтобы не вносить путаницы, скажу иначе: нам была ненавистна сама мысль, что мы любим так сильно, как это было на самом деле.

Обвинения, выдвигавшиеся нами в адрес друг друга, несли в себе сложный подтекст: «Я ненавижу тебя, потому что я люблю тебя». Доходило до прямого протеста: «Я ненавижу ситуацию, когда у меня нет выбора, кроме как идти на риск и так сильно любить тебя». Удовольствия, извлекаемые из зависимости от кого-то, меркнут рядом с леденящим страхом, который предполагает эта зависимость. Наши случавшиеся время от времени неистовые и подчас труднообъяснимые ссоры во время путешествия по Валенсии представляли собой не что иное, как необходимую разрядку того напряжения, которое возникало в нас от сознания, что каждый положил все свои яйца в корзину другого и теперь может сколько угодно добиваться более разумного ведения хозяйства. Иногда наши ссоры носили почти театральный характер — мы с преувеличенным азартом рушили книжные полки, били посуду и хлопали дверьми: «Как замечательно, что я могу тебя так ненавидеть, — однажды сказала мне Хлоя. — Меня радует, что ты держишь удар: я могу послать тебя подальше, а ты в ответ чем-нибудь запустишь в меня, но останешься при своем». Мы чувствовали потребность открывать огонь по противнику, отчасти для того, чтобы посмотреть, в состоянии ли сами выдержать ответный удар. Нам хотелось испытать способность другого к выживанию: только если наши попытки разрушить друг друга не увенчивались успехом, мы могли ощущать себя в безопасности.

15. Легче всего воспринимать счастье, источники которого находятся у тебя под контролем, счастье, доставшееся в результате больших усилий и на основании серьезных размышлений. Но то счастье, которого я достиг с Хлоей, не пришло ко мне вследствие глубоких философских исканий, не было оно и результатом выдающихся личных достижений. Оно чудесным образом проистекало от того малозначительного обстоятельства, что, благодаря вмешательству провидения, я встретил человека, чье общество представляло для меня большую ценность, чем компания практически любого другого человека из всех населяющих земной шар. Такая разновидность счастья представляла тем большую опасность, что ей катастрофически недоставало самодостаточности и постоянства. Если бы мне после месяцев упорного труда удалось вывести формулу, которая перевернула бы представления в области молекулярной биологии, мне не нужно было бы тратить столько усилий, чтобы принять счастье, проистекающее от этого открытия. Сложность принять счастье, олицетворявшееся Хлоей, происходило в результате моего неучастия в процессе его создания, а потому в отсутствии у меня контроля над элементом, ответственным за поступление его в мою жизнь. Все выглядело так, как будто это устроили боги, а потому сопровождалось всеми извечными страхами, связанными с идеей божественного возмездия.

16. «Все несчастья человека происходят от его неспособности оставаться в своей комнате одному», — сказал Паскаль, защищая человеческую потребность в восстановлении собственных сил вопреки и несмотря на ослабляющую зависимость от социума. Но как этого достичь в любви? Пруст рассказывает историю о Мохаммеде II, который, почувствовав, как проникается любовью к одной из своих жен в гареме, тут же велел убить ее, поскольку не хотел жить в духовном рабстве у другого человека. Я, во всяком случае, уже давно оставил надежду достичь самодостаточности. Я вышел из своей комнаты и начал любить другого, а следовательно, пошел на риск, неотделимый от того, чтобы строить свою жизнь в тесной взаимосвязи с другим человеческим существом.

17. Беспокойство, внушаемое любовью к Хлое, отчасти вызывалось тем, что я находился в положении, когда причина моего счастья могла так легко исчезнуть: она могла вдруг потерять интерес ко мне, умереть или выйти замуж за другого. Отсюда явившееся на вершине любви искушение преждевременно прервать отношения, так, чтобы один из нас, я или Хлоя, сыграл роль инициатора разрыва, а не ждал, пока второй, или привычка, или близость положат всему конец. Иногда нас охватывало неудержимое желание (проявлявшееся в наших спорах ни о чем) убить нашу любовь прежде, чем она угаснет естественным путем, — убийство, на которое мы были готовы пойти не из ненависти, а от избытка любви — скорее даже от страха, которым грозил избыток любви. Любовники могут убить свою любовь только из-за того, что они не способны выносить неопределенность, тот абсолютный риск, с каким сопряжен их эксперимент со счастьем.

18. С каждым романом всегда связана мысль, столь же ужасная, сколь и смутная, о том, как он завершится. Так происходит, когда любящий жизнь и вполне здоровый человек пытается представить себе свою собственную смерть — с той единственной разницей, что в момент окончания жизни нас, по крайней мере, поддерживает то, что *после* мы уже ничего не будем чувствовать. Влюбленный не может успокаивать себя этим, поскольку он сознает, что разрыв отношений не обязательно означает конец любви и почти наверняка не означает окончания жизни.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

СПАЗМЫ

1. Поначалу мне было трудно себе представить ложь, продолжительностью в 3,2 секунды, вставленную в последовательность из восьми 0,8-секундных спазмов, два первых и два последних из которых (3,2 с) были настоящими. Легче вообразить или стопроцентную правду, или абсолютную ложь, но идея сэндвича из правды, лжи и снова правды казалась извращенной и ненужной. Или вся последовательность должна была быть лживой, или уж тогда подлинной. Должно быть, мне следовало искать объяснения не в психологических (зачем она это делает?), а в физиологических причинах. Как бы там ни было, независимо от причины и способа объяснения я стал замечать, что Хлоя (после нашего возвращения из Испании) начала симулировать все или часть своих оргазмов.

$0,8+/0,8+/0,8-/0,8-/0,8-/0,8-/0,8+/0,8+ = \text{общая продолжительность } 6,4$
(где «+» — наличие спазма, а «-» — его отсутствие)

2. Обычное число спазмов заменила преувеличенная активность, призванная, возможно, отвлечь мое внимание от недостаточной вовлеченности Хлои в процесс. Я не потому отнесся с таким вниманием к наличию или отсутствию спазмов, что они казались важными сами по себе (было кое-что, свидетельствующее, что удовольствие здесь не связано с числом), просто для женщины (прежде выражавшей удовлетворение в виде учащенных спазмов) они служили важным признаком отдаления, и расстояние, возможно, имело тенденцию увеличиваться.

3. Это уменьшающееся число спазмов не сопровождалось никаким видимым проявлением равнодушия. В каком-то смысле именно сейчас наши занятия любовью достигли своего апогея. Мы занимались этим не только чаще, но еще и в разных положениях, и в разное время суток. Все происходило более бурно, сопровождалось криками, даже слезами, наши движения напоминали движения безумных, в них было больше злости, чем нежности, обычно ассоциируемой с близостью. Я не знаю, насколько этому действительно стоило придавать значение. Достаточно сказать, что подозрение зародилось.

4. Тем, о чем следовало поговорить с Хлоей, я вместо этого поделился с другом.

— Я не знаю, Уилл, что происходит, но секс стал каким-то не таким, как прежде.

— Не переживай, здесь есть свои фазы; неужели ты ждешь, что каждый раз сработает на всю катушку?

— Конечно, нет. Но я чувствую, есть что-то еще. Не знаю, что именно, но за те месяцы, что мы вернулись из Испании, я все время что-нибудь замечаю. И не только в постели — это всего лишь симптом. Я имею в виду вообще.

— Например?

— Ну, ничего определенного. Ладно, кое-что я могу назвать. Мы с ней любим мюсли разных видов, но поскольку я провожу у нее много времени, обычно она покупает и те, которые ем я, чтобы можно было завтракать вместе. Так вот, вдруг ни с того ни с сего на прошлой неделе она перестала покупать их, заявив, что это слишком дорого. Мне не хочется

делать никаких выводов, я просто наблюдаю.

5. Мы с Уиллом стояли в приемной нашего офиса. Празднование двадцатилетия фирмы шло полным ходом. Я привел с собой Хлою, и для нее это была первая возможность увидеть мое рабочее место.

— Почему у Уилла настолько больше заказов, чем у тебя? — спросила Хлоя после того, как посмотрела выставку.

— Отвечай, Уилл.

— Дело в том, что должно пройти время, пока настоящий талант оценят, — проявил милосердие Уилл.

— Твои рисунки блестящи, — сказала ему Хлоя. — Не видела ничего более оригинального, особенно для офисов. Использование материалов просто фантастическое, да еще ты ухитрился настолько удачно сочетать кирпич и металл. Разве ты не можешь придумывать такие вещи? — спросила она меня.

— У меня есть какие-то идеи, но у меня совсем другой стиль. Я работаю с другими материалами.

— Работы Уилла действительно потрясающе, просто невероятно. Я так рада, что пришла и увидела.

— Хлоя, я очень рад слышать это от тебя, — ответил Уилл.

— На меня произвело огромное впечатление то, что ты делаешь. Меня как раз интересуют подобные вещи, какая жалость, что немногие архитекторы делают то, что ты пытаешься делать. Мне кажется, ничего нет проще.

— Это не так просто, но меня всегда учили не отступать от того, во что я верю. Я строю дома, которые внушают мне чувство реальности, а потом людям, живущим в них, передается своего рода энергия.

— Мне кажется, я понимаю, что ты хочешь сказать.

— Было бы понятнее, если бы мы сейчас находились в Калифорнии. Я работал над проектом в Монтери, и думаю, что там ты бы лучше всего увидела, чего можно достичь, используя разные виды камня, сталь и алюминий и работая *заодно* с ландшафтом, а не *против* него.

6. Воспитанный человек, в числе прочего, не спрашивает партнера о критериях его любви. Идеальным было бы, чтобы любили вообще не за соответствие каким-либо критериям, а за то, что *человек таков, как он есть*, — онтологический^[48] статус в противоположность свойствам и качествам. Изнутри любви, как изнутри благосостояния, способы приобретения и удержания чувства (собственности) являются табу. Лишь нехватка — не важно, любви или денег — заставляет человека обращаться с вопросами к системе. В этом, возможно, причина, почему из влюбленных не получается великих революционеров.

7. Проходя однажды на улице мимо одной некрасивой женщины, Хлоя спросила: «Ты смог бы меня полюбить, если бы у меня на лице было такое же безобразное родимое пятно?» За подобным вопросом всегда скрывается горячее желание услышать «да» — ответ, который бы поставил любовь выше бранных покровов тела и особенно тех из них, которые при всем желании невозможно изменить. *Я буду любить тебя не только за твой ум, талант и красоту, но просто потому, что ты — это ты, без всяких дополнительных аксессуаров. Я*

люблю тебя за то, каков ты в глубине души, а не за цвет глаз, длину ног или счет в банке. Хочется, чтобы нас любили независимо от внешних атрибутов, воздавая должное существованию нашей натуры без всяких прикрас, будучи готовы на ту не стесненную условиями любовь, которая, как считается, бывает между родителями и детьми. Настоящее «я» — то, которое мы выбираем добровольно, и если на лбу появляется родинка, тело ссыхается под влиянием возраста, в результате падения цен пропадают деньги, — все эти несчастья следует нам простить, поскольку они портят нас только снаружи. И даже если мы очаровательны и богаты, и в этом случае мы не хотим, чтобы нас любили за это, поскольку достоинства могут оставить нас, а вместе с ними и любовь. Мне бы хотелось, чтобы ты скорее восхищалась моим умом, чем лицом, но если это неизбежно, то пусть лучше твои комплименты относятся к моей улыбке (контролируется при помощи лицевых мышц и нервов), чем к форме моего носа (статичен и полностью зависит от хрящей, кожи и других тканей). Хочется быть любимым, даже если я потеряю все, если у меня останется только мое «я», это таинственное «я», мыслящееся как личность в самом уязвимом своем состоянии, в минуту наибольшей слабости. *Достаточно ли ты любишь меня для того, чтобы я мог быть с тобой слабым?* Всем нравится сила, но любишь ли ты меня за мою слабость? В этом и заключается настоящая проверка. Любишь ли ты меня, если я потеряю все, чего можно лишиться, за одно то, что всегда пребудет со мной?

8. В тот вечер в проектном бюро я впервые почувствовал, что Хлоя ускользает от меня, перестает восхищаться моей работой и начинает сопоставлять мои достоинства с достоинствами других мужчин. Поскольку я чувствовал усталость, а Хлоя и Уилл нет, я отправился домой, а они решили пойти выпить чего-нибудь в Вест-Энд. Хлоя сказала, что позвонит мне сразу же, как только доберется до дома, но около одиннадцати я сам решил позвонить ей. Ответил автоответчик, как и потом, когда я уже в половине третьего еще раз позвонил ей. Меня так и подмывало доверить трубке свое беспокойство, но облечь его в слова означало каким-то образом приблизить их к реальности, переводя подозрение в плоскость обвинений и ответных обвинений. По всей видимости, это могло ничего не значить — или, по крайней мере, значить что угодно: мне легче было думать, что она попала в аварию, чем что она предается безделью в обществе Уилла. В четыре часа утра я позвонил в полицию, и спросил самым вменяемым тоном, на который только способен человек, выпивший водки, не были ли они на месте происшествия, где, может быть, они видели искалеченное тело или искореженный «фольксваген» моего ангела в короткой зеленой юбке и черной куртке, с которой я попрощался в конторе поблизости от Барбикена. Нет, сэр, такого выезда не было, она ваша родственница или просто подруга? Могу ли я подождать до утра, а потом снова позвонить им?

9. «Думая о проблемах, можно внести их в свою жизнь», — сказала однажды Хлоя. Я не отваживался думать из страха перед тем, что могло мне открыться. Свободно мыслить означает не бояться встретить своих демонов. Но встревоженный ум не способен отвлекаться, и я, хрупкий как стекло, не мог отрешиться от своей паранойи. Епископ Беркли^[49], а впоследствии Хлоя говорили, что, если закрыть глаза, внешний мир представляется не более реальным, чем сон, и сейчас меня сильнее, чем когда-либо, привлекала успокаивающая власть иллюзий. Я предпочел бы не смотреть в лицо правде: быть может, неприятная правда, если я только не буду думать о ней, как-нибудь сама

перестанет существовать.

10. В отсутствие Хлои, чувствуя себя вконец запутавшимся, виноватым в своих подозрениях и сердясь на себя за это, я, когда мы встретились в десять часов на следующий день, предпочел сделать вид, что ничего не произошло. Она же, наверное, сознавала свою вину — иначе зачем сходила в ближайший супермаркет, купив недостающие мюсли, чтобы наполнить желудок Юного Вертера? Она навлекла на себя обвинение не своим безразличием, а, напротив, своим чувством долга — большим пакетом злаковой смеси «Голден Брен», лежавшим на самом виду на подоконнике.

— Тебе не нравится? Разве это не те самые мюсли, которые ты любишь? — спрашивала Хлоя, в то время как я с трудом заталкивал в себя еду.

11. Она сказала, что осталась на ночь у своей подруги Паулы. Они с Уиллом болтали допоздна в баре в Сохо, а поскольку она выпила немного лишнего, то решила, что будет проще заночевать в Блумсбери, чем ехать через весь город домой в Ислингтон. Она хотела позвонить мне, но ее звонок, конечно, разбудил бы меня. Разве это было неправильно, если я сказал, что хочу лечь спать пораньше? Почему у меня такое лицо? Может быть, добавить в мюсли еще молока?

12. Версии происшедшего, плохо подкрепленные фактами, всегда сопровождает искушение признать их за правду, разумеется если они приятны. Как характерный для простака оптимистический взгляд на вещи, Хлоин рассказ о ее вечере вызывал желание в него поверить, как теплая ванна, из которой мне не хотелось вылезать. Если она верит, почему я не должен? Если для нее это так просто, почему это должно быть так сложно для меня? Я хотел увлечься ее рассказом о ночи, проведенной на полу, в квартире Паулы в Блумсбери, поскольку в таком случае мог забыть свой придуманный альтернативный вечер (другая кровать, другой мужчина, спазмы). Как избиратель, у которого слащавые обещания политика вышибают слезу умиления, я попал в западню лживой возможности прислушаться к своим самым сокровенным желаниям.

13. Поэтому, коль скоро она провела ночь у Паулы, купила мюсли и все было забыто, я ощутил всплеск доверия к ней и облегчение, какое испытывает человек, проснувшийся после кошмарного сна. Я встал из-за стола и сомкнул руки на толстом белом свитере моей возлюбленной, лаская сквозь шерсть ее плечи, потом наклонился, чтобы поцеловать шею, помешкав около уха, вдыхая знакомый запах ее кожи и чувствуя, как волосы щекочут лицо. «Не надо, не сейчас», — отозвался ангел. Но Купидон, не веря своим ушам, увлеченный знакомым запахом ее кожи и щекочущими прикосновениями волос, продолжал прикасаться губами к ее плоти. «Я, кажется, сказала: не сейчас!» — повторил ангел так, что даже Купидон расслышал.

14. Модель поцелуя выработалась у них в первую же совместную ночь. Она приблизила свою голову к его, а он, увлеченный этим хрупким соединением души и тела, начал скользить губами по ее шее, повторяя изгиб. Она вздрогнула и улыбнулась, взяла его за руку и закрыла глаза. Между ними это стало чем-то вроде ритуала, своего рода подписью, скрепившей язык их близости. «Не надо, не сейчас». Ненависть — это скрытый текст в послании любви, они зарождаются одновременно. Женщину, соблазненную тем, как

возлюбленный целует ее шею, переворачивает страницы в книге или рассказывает анекдот, ждут потом приливы раздражения именно в те же моменты. Как если бы конец любви уже содержался в ее начале, составляющие распада заранее предсказаны тем, что однажды вызвало ее к жизни.

15. «Я, кажется, сказала: не сейчас!» Известны случаи, когда хорошие врачи, способные выявить у своих пациентов первые признаки рака, непонятным образом не замечали, как в их собственном теле вырастает опухоль размером с футбольный мяч. Можно привести в пример людей, почти всегда проявляющих ясность ума и рассудительность, которые тем не менее не могут осознать, что один из их детей умер или что жена или муж бросили их, — и продолжают думать, что ребенок просто потерялся, а жена или муж разведется со своим новым мужем (женой) и вернется к ним. Любовник, потерпевший крушение, не может принять факт катастрофы и продолжает вести себя как будто ничего не случилось, напрасно надеясь, что, не признавая приговора, можно препятствовать приведению его в исполнение. Все признаки указывали на конец, стоило только их прочесть — но меня внезапно поразила неграмотность, и виновата в этом была боль.

16. Жертва скоропостижной кончины любви оказывается неспособной применить оригинальные средства, чтобы оживить труп. Именно в это время, когда все еще можно было спасти, проявив изобретательность, я, полный страха и потому *неоригинальный*, ударился в ностальгию. Чувствуя, как Хлоя отдаляется от меня, я попытался вернуть ее, слепо повторяя вещи, которые в прошлом связывали нас. Я повторял свои попытки с поцелуем и в последующие недели настаивал на том, чтобы мы ходили в те же кино и рестораны, где когда-то провели приятный вечер, возвращался к шуткам, над которыми мы когда-то вместе смеялись, возобновлял позы, в которых прежде сливались наши тела.

17. Я искал покоя в привычности нашего языка, на котором мы говорили между собой и при помощи которого нам прежде всегда удавалось смягчить конфликты, в шутках в духе Гераклита, имевших целью признать, а значит сделать необидными, временные отливы любви.

— Сегодня что-то не так? — спросил я однажды утром, когда Венера выглядела почти такой же бледной и грустной, как и я.

— Сегодня?

— Да, сегодня что-то не так?

— Нет, почему? Разве есть какая-нибудь причина?

— Вроде бы нет.

— Почему ты тогда спрашиваешь?

— Не знаю. Потому что ты выглядишь немного несчастной.

— Извини, я тоже человек.

— Я только стараюсь помочь. Если взять за целое десять, на сколько единиц ты сегодня оценишь меня?

— Я правда не знаю.

— Почему?

— Я устала.

— Просто скажи.

- Не могу.
- Ну слушай, из десяти! Шесть? Три? Минус двенадцать? Плюс двадцать?
- Я не знаю.
- Подумай.
- Ради всего святого, я не знаю, оставь меня в покое, наконец!

18. Стоило мне заговорить на нашем языке, как он переставал быть понятным для Хлои — она даже готова была скорее притворяться, что забыла его, чем открыто признать свое нежелание говорить на нем. Она избегала сложностей в языке, выдавая себя за иностранку, она словно стала читать меня задом наперед и находить ошибки. Я не мог понять, почему то, что я говорил, прежде казалось ей таким привлекательным, а теперь вдруг вызывало раздражение. Я не мог понять, почему, хотя я не изменился, мне теперь по сто раз в день говорили, что я отвратителен. В панике я предпринял попытку вернуть золотой век, задавшись вопросом: «Что я делал тогда такого, чего, судя по всему, не делаю сейчас?» Я шел на все возможные уступки самому себе, каким я был в прошлом, когда являлся объектом любви. Чего я никак не понимал, так это того, что именно мое прежнее «я» теперь вызывало очевидное раздражение, а значит, я лишь ускорял процесс разрыва.

19. Я превратился в своего рода раздражитель, в человека, *перешедшего черту, за которой уже не требуется взаимности*. Я покупал ей книги, носил ее куртки в химчистку, платил за ужин, я предложил поехать на Рождество в Париж, чтобы отпраздновать нашу годовщину. Впрочем, лишь унижение и могло быть результатом любви вопреки всякой очевидности. Она могла срывать на мне плохое настроение, нападать на меня, не замечать меня, дразнить, обманывать меня, наносить мне удары кулаками и ногами, а я не отвечал — и благодаря этому сделался ненавистен.

20. В конце ужина, на приготовление которого я потратил два часа (большую его часть занял спор на тему истории Балканских стран), я взял Хлою за руку и произнес: «Я хочу сказать тебе кое-что, и пусть это прозвучит сентиментально: как бы много мы ни спорили и все такое, ты мне по-прежнему очень нужна и я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Ты — все для меня, ты ведь знаешь это».

Хлоя (которая всегда читала больше книг по психоанализу, чем романов) посмотрела на меня с подозрением и произнесла: «Слушай, очень мило, что ты так говоришь, но это внушает мне опасения; не надо делать из меня идеал своего эго».

21. Ситуация упростилась до трагикомического сценария: с одной стороны, мужчина, видящий в женщине ангела, с другой — этот ангел, видящий в любви нечто находящееся на грани патологии.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

РОМАНТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

1. Вопрос: «Почему ты не любишь меня?» столь же нелеп (и гораздо менее приятен), как и вопрос: «Почему ты любишь меня?». В обоих случаях мы покушаемся на недоступный сознательному (связанному с соблазнением) контролю механизм любви, сам факт, что любовь силой неких необъяснимых причин дается нам в дар, который мы никогда не бываем в состоянии ни проанализировать, ни заслужить. В каком-то смысле нам и не нужно знать ответ — он ничего не объяснит, потому что нам не дано повлиять на его откровения. Названная причина — не та, которая вызвала к жизни действие, она возникает уже после, в оправдание более глубинных движений, результат поверхностного анализа *post hoc* ^[50]. Задавая такие вопросы, мы в одном случае приближаемся к позициям крайней самоуверенности, в другом — исполняем самого крайнего унижения: «Что я сделал такого, чтобы заслужить любовь? — спрашивает излишне скромный любовник. — Я не мог сделать ничего подобного». «Что я сделал такого, что мою любовь отвергли?» — протестует обманутый, дерзко заявляя свои права на дар, который никогда никому не принадлежит. На оба вопроса тот, кто дает любовь, может ответить одно: «Потому что ты — это ты» — ответ, опасно и непредсказуемо подвешивающий возлюбленного между парением в небесах и депрессией.

2. Любовь может возникнуть мгновенно, с первого взгляда, но время ее умирания значительно дольше. Хлоя, должно быть, боялась этого разговора; с другой стороны, в случае слишком поспешного разрыва она могла опасаться сделать выбор в пользу жизни, не предлагавшей никакой благоприятной альтернативы. В итоге происходило медленное размежевание, таинство чувства, лишь постепенно высвобождавшего себя от уз, связывавших его с телом любимого человека. В этом была вина за постоянный обман, вина за остаточное чувство ответственности по отношению к отторгнутому объекту, напоминавшее приторную жижу на дне кофейной чашки, которую нельзя выпить одним глотком.

3. Когда любое решение затруднительно, не принимается никакого. Хлоя тянула время, и я вместе с ней (ведь разве какое-нибудь решение могло быть для меня благоприятным?). Мы продолжали видеться, продолжали спать вместе и строить планы поездки в Париж на Рождество. Хлоя проявляла при этом странную отстраненность, как будто эти планы касались кого-то другого — может быть, потому, что легче обсуждать покупку билетов, чем то, что стояло за их приобретением или не-приобретением. За ее недостатком решительности скрывалась надежда, что, если она не будет ничего делать, другой примет решение за нее, что, если она будет демонстрировать свою нерешительность и фрустрацию ^[51], пусть и не влияя прямо на происходящее, я в конце концов сам совершу шаг, который был ей необходим, но который она слишком боялась сделать сама.

4. Мы вступили в пору романтического терроризма.

— Что-то не так?

— Нет, а почему что-то должно быть не так?

— Я только подумал, что тебе хочется поговорить.

— О чем?

— О нас...

— Ты хочешь сказать — о тебе, — перебила Хлоя.

— Нет, я хочу сказать — о нас.

— Ладно, что — о нас?

— Правда, я не знаю. Просто у меня начиная где-то с середины сентября такое чувство, что мы ни разу не говорили по-настоящему. Как будто между нами возникла стена, а ты отказываешься это признать.

— Я не вижу стены.

— Вот об этом я и говорю. Ты все время не соглашаешься с тем, что вообще было как-то иначе, чем так.

— Как так?

5. Стоит одному из двоих начать терять интерес, как у другого остается очень мало возможностей сделать что-либо, чтобы остановить этот процесс. Как и соблазнение, уход обладает тем недостатком, что происходит под покровом молчания, поскольку в центре отношений стоит причина, о которой не принято говорить: *я хочу тебя/ я не хочу тебя* — как в одном, так и в другом случае требуется бесконечно много времени, чтобы найти способ передать это сообщение. Само нарушение коммуникации с трудом поддается обсуждению, если только обе стороны не заинтересованы в ее восстановлении. Все это ставит любящего в почти безнадежное положение: соблазнительные преимущества разумного диалога кажутся исчерпанными, и его попытки вызывают только раздражение. Пока любящий действует по правилам (по-доброму), эти действия носят, как правило, *иронический* характер, они подавляют любовь в стремлении оживить ее. И вот на этой стадии, отчаявшись вернуть возлюбленного каким-либо иным способом, любящий прибегает к романтическому терроризму, порождению безнадежных ситуаций, целому набору разнообразных выходов (угрюмости, ревности, чувству вины), призванному заставить партнера вновь полюбить. Он ударяется в слезы, демонстрирует припадки бешенства и устраивает другие тому подобные сцены в присутствии своего предмета. Партнер-террорист знает, что, если рассуждать здраво, он уже не может надеяться на взаимность, но напрасность чего-либо не всегда (как в любви, так и в политике) достаточный аргумент, чтобы от этого отказаться. Некоторые вещи говорятся не потому, что они будут услышаны, а потому, что важно их произнести.

6. Когда конфликт не удается решить путем политического диалога, обиженная сторона, находясь в безвыходном положении, может прибегнуть к террористической деятельности, силой добиваясь уступки, которой не смогла добиться, мирно обольстив своего бывшего оппонента. Политический терроризм является порождением тупиковых ситуаций, это модель поведения, совмещающая в себе потребность в действии с уверенностью (сознательной или наполовину осознанной) в том, что оно не приведет к достижению желаемой цели — а если и будут достигнуты какие-то результаты, то ими станет лишь еще большее отчуждение. Бесплодность терроризма несет в себе все черты детского гнева, бешенства от сознания собственной беспомощности в схватке с более могущественным противником.

7. В мае 1972 года три члена японской «Красной армии», которая вооружалась, обучалась и финансировалась Народным фронтом освобождения Палестины, приземлились на борту регулярного рейса в аэропорту Лод поблизости от Тель-Авива. Они вышли из самолета, проследовали с остальными пассажирами в зону прилета, а оказавшись там, достали из своего ручного багажа автоматы и гранаты. В помещении, где было много народа, они открыли беспорядочную стрельбу, убив двадцать четыре человека и ранив еще семерых, после чего сами были застрелены представителями органов правопорядка. Что общего эта бойня имела с проблемой автономии Палестины? Убийцы не ускорили мирный процесс, они лишь настроили общественное мнение в Израиле против палестинцев, а кроме того, по иронии случая среди жертв террористов большинство оказались даже не гражданами Израиля, а паломниками из Пуэрто-Рико, намеревавшимися посетить Иерусалим. И все же было нечто в каком-то смысле оправдывавшее эту акцию, а именно — потребность найти выход негативным эмоциям в ситуации, где диалог с некоторыми пор перестал приносить результаты.

8. Мы оба могли выделить на поездку в Париж только два дня, поэтому взяли билеты на последний рейс из Хитроу в пятницу и предполагали вернуться поздно вечером в воскресенье. Хотя мы летели во Францию праздновать годовщину, это больше походило на похороны. Когда самолет приземлился в Париже, зал прилета выглядел темным и пустым. Незадолго перед тем пошел снег, дул ледяной северный ветер. Пассажиров было больше, чем такси, поэтому мы взяли машину на троих — вместе с женщиной, с которой познакомились еще на паспортном контроле. Она была адвокатом и приехала из Лондона в Париж на конференцию. Женщина была привлекательной, и я, хотя вовсе не был в настроении обращать внимание на кого-либо, тем не менее флиртовал с ней по дороге в город. Когда Хлоя делала попытку присоединиться к разговору, я перебивал ее, обращаясь исключительно (и с подтекстом соблазнения) к этой женщине. Однако то, удастся ли нам вызвать ревность, зависит от одного важного обстоятельства: склонен ли человек, против которого направлена провокация, реагировать на это. Поэтому террористическая ревность — предприятие всегда рискованное: насколько далеко я смогу зайти, пытаюсь заставить Хлою ревновать? А что, если реакции не последует? Я не мог быть уверен, скрывает ли она свою ревность, как если бы хотела спровоцировать меня (так поступают политики, заявляя по телевидению, что оставляют без внимания угрозы террористов), или ей действительно было все равно. Одно можно сказать наверняка, Хлоя не доставила мне удовольствия каким-либо проявлением ревности и была так мила, как не бывала уже очень давно, все то время, какое понадобилось, чтобы добраться до нашей комнаты в маленькой гостинице на улице Жакоб.

9. Террористы пускаются в авантюры в надежде вызвать своими действиями ужас настолько сильный, что одного его хватит, чтобы достичь любой цели. Известна история одного преуспевающего итальянского бизнесмена, которому однажды вечером в офис позвонили террористы и сообщили, что в их руках находится его младшая дочь. В качестве выкупа была заявлена огромная сумма. Требования сопровождалась угрозой, что, если деньги не будут выплачены, отец больше не увидит свою дочь живой. Однако этот человек не ударился в панику, а небрежно ответил, что, убив дочь, они сделают ему большое одолжение. Дело в том, что у него десять детей, и все они — источник постоянных переживаний и разочарований, содержание их обходится дорого, и, вообще, дети для него —

достойная сожаления расплата за немногие счастливые минуты в постели. Выкуп не будет выплачен, а если они хотят убить девочку, то пусть поступают по своему усмотрению. И выразившись так резко, он бросил трубку. Террористы поверили ему, и не прошло нескольких часов, как девочка оказалась на свободе.

10. Когда мы проснулись на следующее утро, снег все еще шел, но было слишком тепло, и он сразу же таял. Мостовые превратились в слякоть под цвет грязно-серого низкого неба. Мы решили, позавтракав, пойти в музей д'Орсэ, а во второй половине дня планировали поход в кино. Я только что захлопнул дверь гостиничного номера, как Хлоя резко спросила:

— Ключ у тебя?

— Нет, — ответил я. — Минуту назад ты сказала, что он у тебя.

— Разве? Я этого не говорила, — сказала Хлоя. — У меня нет ключа. Теперь из-за тебя мы не сможем попасть в номер.

— Я тут ни при чем. Я закрыл дверь, будучи уверен, что ключ у тебя, потому что не нашел его там, где оставил.

— Слушай, не говори глупостей, у меня его нет. Теперь мы не сможем попасть в номер — из-за тебя.

— Из-за меня! Господи, перестань обвинять меня в том, что ты забыла ключ.

— Я не имела никакого отношения к ключу.

С этими словами Хлоя повернулась к лифтам, и тут (как это бывает в романах) из кармана ее пальто на коричневый гостиничный ковер выпал ключ.

— Ой, я виновата. Он был все время у меня — ничего себе! — сказала Хлоя.

Но я решил не прощать ей так легко и рассердился.

— Вот значит как, — сказал я и, как в глупой мелодраме, бросился вниз по лестнице.

Хлоя кричала мне вслед:

— Подожди, не валяй дурака, куда ты? Я же сказала, что была виновата.

11. Успешно спланированная террористическая обида должна быть спровоцирована каким-то, пусть незначительным, проступком со стороны того, против кого она направлена. При этом она отличается явной диспропорцией между понесенным ущербом и грянувшим за ним возмездием, когда наказание слабо связано с исходным оскорблением и носит такой характер, что от него нельзя легко уйти, прибегнув к обычным в таком случае способам. Я долгое время ждал возможности обидеться на Хлою, но начинать дуться, когда человек ни в чем конкретном не виноват, непродуктивно, поскольку есть опасность, что другой просто не обратит внимания и комплекс вины не расцветет пышным цветом.

12. Я мог бы какое-то время кричать на Хлою, она — на меня, и тогда между нами не состоялся бы спор по поводу ключа. Всякая обида берет начало от несправедливости, которая, возникнув, могла бы тотчас исчезнуть, но вместо того была взлелеяна обиженным и припасена на потом, чтобы, проявившись, отозваться гораздо более болезненно. Откладывание объяснений усугубляет обиду, чего не происходит, если дело разъясняется тут же. Дать сразу понять, что ты сердисься, — самый великодушный поступок, который только можно совершить, потому что он спасает объект обиды от пускающего корни чувства вины, а значит, от того, чтобы оставить свои бастионы и сойти вниз к обиженному. Я и не думал делать Хлое такого одолжения, поэтому вышел один из гостиницы и направился к Сен-

Жермен^[52], где провел два часа, переходя из одного книжного магазина в другой. Потом, вместо того чтобы вернуться в гостиницу и оставить записку, я пообедал один в ресторане, после чего посмотрел два фильма подряд и в конце концов добрался до своего номера только к семи часам вечера.

13. Самое главное в терроризме — то, что он в первую очередь призван привлечь внимание. Это разновидность психологической войны с целями (например, создание Палестинского государства), никак не связанными с применением военной техники (открыть огонь в зале прибытия аэропорта Лод). Происходит характерная нестыковка целей и средств, обида используется для того, чтобы обратить внимание на нечто, не имеющее к ней непосредственного отношения: «Я сержусь на тебя за то, что ты обвинила меня в пропаже ключа» заключает в себе дальнейший, более широкий смысл (о котором напрямую не говорят): «Я сержусь на тебя за то, что ты больше меня не любишь».

14. Хлоя не была жестокой и, что бы я там ни говорил, имела достаточно великодушия, чтобы обвинять себя. Она попыталась бежать за мной по дороге к Сен-Жермен, но потеряла меня в толпе. Потом вернулась в гостиницу и некоторое время ждала, после чего отправилась в музей д'Орсэ. Когда я в конце дня вернулся, то застал ее лежащей в кровати. Ничего не сказав ей, я прошел в ванную и долго стоял под душем.

15. Обижающийся — сложная натура, его сообщения крайне противоречивы, он во всеуслышание требует помощи и внимания и в то же время готов его отвергнуть, *поскольку хочет, чтобы его понимали без слов*. Хлоя спросила, могу ли я ее простить, говорила, что ненавидит оставлять нерешенные споры и хочет, чтобы мы провели приятный вечер, отмечая нашу годовщину. Я ничего не ответил. Не в состоянии высказать все свое раздражение против Хлои (раздражение, никак не связанное с ключом), я потерял чувство меры. Почему мне было так сложно сказать, на что я обиделся? Потому что существовала опасность проговориться об истинной причине обиды: что Хлоя перестала меня любить. Мою боль было так трудно передать словами и она имела так мало общего с забытым ключом, что я выглядел бы глупо, заговори я сейчас об этом. Поэтому я был вынужден молчать. Поскольку я не мог прямо сказать, что я чувствую, я прибегнул к иносказанию, наполовину боясь, наполовину надеясь, что она поймет смысл моих слов.

16. После моего душа мы наконец выяснили отношения в истории с ключом и отправились ужинать в ресторан на острове Сите. Мы оба пребывали в отличном настроении, изо всех сил старались избегать неловкости, болтали на нейтральные темы о книгах, фильмах и столицах. Со стороны (например, официанту) могло показаться, что двое действительно счастливы вместе — так что романтический терроризм торжествовал существенную победу.

17. И тем не менее у обычных террористов перед романтическими террористами есть существенное преимущество — то обстоятельство, что в их требования (даже самые дерзкие) не включается самое дерзкое требование из всех — требование, чтобы их *любили*. Я сознавал, что наше счастье в тот вечер в Париже было самообманом, потому что любовь, которую выказывала Хлоя, не явилась сама собой. Это была любовь женщины, чувствующей

себя виноватой в том, что ее привязанность иссякла, но которая тем не менее пытается проявить лояльность (чтобы одновременно убедить и себя, и его). Поэтому вечер не был для меня по-настоящему счастливым: обида сделала свое, но победа оказалась тщетной.

18. Хотя обычные террористы, взрывая дома или школьников, время от времени добиваются уступок от правительств, романтические террористы при этом обречены на разочарование в силу принципиальной непоследовательности своего подхода. «Ты должна любить меня, — говорит романтический террорист, — я заставлю тебя любить меня, обижаясь или заставляя тебя ревновать!» Но это приводит к парадоксу, поскольку, получив обратно любовь, он уже заранее относится к ней с подозрением, и у романтического террориста вырывается жалоба: «Если я только заставил тебя любить себя, то я не могу принять этой любви, потому что ты не даришь мне ее добровольно».

19. По дороге обратно в гостиницу Хлоя опустила руку в карман моего пальто и поцеловала меня в щеку. Я не вернул ей поцелуй, и не потому, что поцелуй не был самым желанным завершением ужасного дня, просто я не мог больше воспринимать ее поцелуи как подлинные. Я потерял желание навязывать любовь той, которая не хотела ее принять.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА

1. Под вечер в воскресенье мы с Хлоей сидели в салоне эконом-класса «Бритиш Эруэйз», возвращаясь из Парижа в Лондон. Побережье Нормандии только что осталось позади, и одеяло зимних облаков, расступившись, позволило нам некоторое время беспрепятственно любоваться темной водой внизу. Находясь в напряжении и не в состоянии сосредоточиться, я ерзал в своем кресле. В этом полете таилась какая-то угроза, тусклый фон работающих двигателей, притихший серый салон, конфетные улыбки служащих авиакомпании. Тележка с набором напитков и закусок медленно двигалась по проходу, а я, хотя был голоден и хотел пить, испытывал, глядя на нее, только неявное чувство дурноты, которое может вызывать в самолете еда.

2. Хлоя только что дремала и слушала свой плеер, но теперь она вынула из ушей наушники и уставилась большими зеленоватыми глазами на спинку кресла перед собой.

— С тобой все в порядке? — спросил я.

Последовало молчание, как будто она не расслышала. Потом она заговорила.

— Ты слишком добр ко мне, — сказала она.

— Что?

— Я говорю: ты слишком добр ко мне.

— Что? Почему?

— Потому что.

— Хлоя, для чего ты это говоришь?

— Не знаю.

— Да мне кажется, что все как раз наоборот. Это ты, если есть проблема, всегда готова сделать усилие над собой, это ты себя обвиняешь, когда...

— Тсс, замолчи, не надо, — сказала Хлоя, глядя в сторону.

— Почему?

— Потому что я встречалась с Уиллом.

— Что ты делала?

— Я встречалась с Уиллом, а что?

— Что? Что значит встречалась? Встречалась с Уиллом?

— Господи, я спала с Уиллом.

— Мадам, желаете что-нибудь выпить или съесть? — В этот момент возле нас оказалась стюардесса со своей тележкой.

— Нет, спасибо.

— Совсем ничего?

— Нет, мне ничего не нужно.

— А ваш сосед?

— Нет, спасибо, ничего.

3. Хлоя заплакала.

— Я не могу в это поверить. Я просто не могу в это поверить. Скажи мне, что все это — шутка, ужасная, чудовищная шутка, что ты спала с Уиллом. Когда? Как? Как ты могла?

— Боже мой, я так виновата, я очень виновата. Прости меня, но я... я... Прости...

Хлоя плакала так, что не могла говорить. Слезы ручьями текли по ее лицу, она хлюпала носом, все ее тело сотрясали рыдания, она задыхалась, хватая ртом воздух. Ей было так плохо, что на мгновение я забыл о важности ее признания и только думал, как остановить поток ее слез.

— Хлоя, пожалуйста, не плачь, все в порядке. Мы можем это обсудить. Тиджи, пожалуйста, возьми этот платок. Все будет хорошо, обязательно, честное слово...

— Господи, я так виновата, я виновата, ты этого не заслуживаешь, ей-богу, нет...

Хлоино отчаяние на время облегчило груз измены. Ее слезы означали короткую отсрочку моих собственных. От меня не ускользнула ирония ситуации — любовник, успокаивающий свою возлюбленную, расстроенную тем, что она изменила ему.

4. В потоках слез захлебнулись бы пассажиры, они затопили бы весь самолет, если бы командир не стал вскоре после начала извержения готовиться к посадке. Это было похоже на наводнение, всемирный потоп печали с обеих сторон перед лицом неизбежности и жестокости того, что происходило, — так просто не могло продолжаться, это должно было иметь конец. Смысл происходящего все больше терялся, все больше пропадал на фоне того, что нас окружало, — эргономичная обстановка салона, профессиональное внимание стюардесс, сочувствующие взгляды пассажиров, смотревших с той самодовольной отстраненностью, которую ощущают, присутствуя при эмоциональных срывах у посторонних.

5. Когда самолет прорезал облака, идя на посадку, я пытался представить себе будущее: целый отрезок жизни стремительно неся к концу, а мне нечем было его заменить, одна ужасающая пустота. «Мы надеемся, что пребывание в Лондоне будет для вас приятным и что скоро мы снова будем рады приветствовать вас на борту самолета нашей авиакомпании». Снова будем рады приветствовать... а буду ли я снова жить? Что теперь будет значить для меня жизнь? Хотя мы продолжали держаться за руки, я понимал, насколько чужими друг другу мы вскоре ощутим наши тела. Между нами вырастет стена, разрыв примет окончательную форму, я буду продолжать видеть ее в течение нескольких месяцев или лет, нам будет весело, мы будем шутить, на нас будут маски и деловые костюмы, мы будем заказывать в ресторане салат — и нельзя будет прикоснуться к тому, что сейчас еще доступно нам: острая боль человеческой трагедии, нагота, зависимость, невосполнимая утрата. Мы будем напоминать зрителей, выходящих после душераздирающей мелодрамы, не в состоянии выразить те чувства, которые переполняли их только что. Все, на что они сейчас способны, — это завалиться всей компанией в бар и надраться, сознавая, что было нечто большее, но прикоснуться к этому им уже не дано. Хотя это была агония, я предпочитал эти минуты тем, что придут после, — часам одиночества, которые я проведу, заново проигрывая все, обвиняя ее и себя, пытаюсь придумать будущее, другую историю, как сбитый с толку драматург, не знающий, что делать с созданными его воображением характерами (только не убить, чтобы все кончилось хорошо...). Все это длилось, пока шасси не ударились о покрытие полосы в Хитроу, двигатели не заработали на торможение, и самолет не подрулил к терминалу, где изверг содержимое в зал прилета. Мы с Хлоей забрали багаж и прошли через таможню. Отношения были формально закончены. Мы постараемся остаться добрыми друзьями, мы постараемся не плакать, мы постараемся не чувствовать себя палачом и

жертвой.

6. Два дня я ничего не ощущал. Пребывал в нокауте — так говорят, когда удар действительно силен. Потом однажды утром почтальон принес письмо от Хлои — два листка кремовой бумаги были исписаны ее таким знакомым почерком. Черной ручкой Хлоя писала:

Прости меня, что я заставляю тебя читать эту неразбериху, прости, что я испортила нашу поездку в Париж, прости, что все это сильно напоминает мелодраму. Мне кажется, что я уже никогда больше не буду так плакать, как в этом несчастном самолете, и что меня уже никогда больше не будут так разрывать противоречивые чувства. Ты был так добр ко мне, и это было хуже всего. Другой на твоём месте велел бы мне убираться ко всем чертям, но ты не прогнал меня, и это безумно все осложнило.

При выходе из самолета ты спросил меня, как я могу плакать и в то же время быть уверенной. Ты должен понять, я плакала, потому что знала — так дальше продолжаться не может, а меня еще столько связывает с тобой. Я вижу, что не могу дальше отказывать тебе в любви, которой ты заслуживаешь, а я уже не могу тебе дать. Это было бы нечестно и разрушило бы нас обоих.

Мне никогда не удастся написать это письмо тебе так, как мне бы хотелось написать его. Это не то письмо, которое я писала тебе в своей голове в течение этих последних дней. Если бы я только умела, я бы нарисовала тебе картину: у меня никогда не получалось хорошо выразить мысли на бумаге. Мне кажется, я не смогу сказать того, что хочу, я только надеюсь, что ты заполнишь пропуски.

Мне будет не хватать тебя, ничто не сможет отнять того, что мы с тобой пережили. Мне дороги месяцы, которые мы провели вместе. Сейчас это предстает нереальным нагромождением событий — завтраков, обедов, звонков в обеденный перерыв, ночных сидений в «Электрике», прогулок в Кенсингтон Гарденс. Я не хочу, чтобы что-нибудь это испортило. Когда ты любил, значение имеет не время, а то, что все чувства и поступки имели тогда удвоенную силу. Для меня это был один из тех немногих промежутков, когда жизнь не протекала где-то еще. Я всегда буду находить тебя прекрасным, я никогда не забуду, как мне нравилось просыпаться и видеть тебя рядом. Мне просто не хочется и дальше причинять тебе боль. Я не вынесу, если наши отношения постепенно потеряют свежесть.

Не знаю, куда я теперь отправлюсь. Может быть, проведу рождественские каникулы в одиночестве или со своими родителями. Уилл скоро уезжает в Калифорнию, так что там будет видно. Не будь несправедлив к нему, не обвиняй его. Он относится к тебе с большой симпатией и бесконечно уважает тебя. Он был лишь симптомом, а не причиной того, что произошло. Прости меня за это несвязное письмо — его спутанность, может быть, напомнит о том, как мы с тобой жили. Прости меня, ты был слишком добр ко мне. Надеюсь, мы сможем остаться друзьями. Вся моя любовь...

7. Письмо не принесло облегчения, только вызвало воспоминания. Я узнал в нем модуляции ее голоса, ее интонацию, а с ними — выражение лица, запах ее кожи и, наконец, рану, которая была мне нанесена. Я плакал над окончательностью этого письма, подводившего итог, анализировавшего, повернувшего все в прошедшее время. В его

синтаксисе еще давали себя знать колебания и разброс чувств, но смысл был определен. Все было кончено — она выражала сожаление, что все кончено, но любовь прошла. Я был сражен чувством, что меня предали, — предали, поскольку отношения, в которые я столько вложил, были объявлены несостоятельными, а я их таковыми не ощущал. Хлоя не оставила им ни единого шанса; я спорил сам с собой, сознавая бессмысленность этого внутреннего разбирательства, выносившего пустые вердикты в половине пятого утра. Хотя не было другого контракта, кроме контракта, заключенного сердцем, я тем не менее чувствовал себя глубоко уязвленным Хлоиным вероломством, ее отступничеством, ее ночью, проведенной с другим мужчиной. Как это вообще могло произойти в нарушение всех нравственных норм?

8. Удивительно, насколько часто отвергнутая любовь прибегает к языку морали, языку права и неправоты, добра и зла, как будто отвергнуть или не отвергнуть, любить или не любить естественно было бы отнести к области этики. Удивительно, как часто тот, кто отвергает, несет клеймо зла, а тот, кто отвергнут, становится воплощением добра. В поведении Хлои и моем было что-то от этого отношения. Облекая свой отказ в слова, она приравнивала свою неспособность любить меня ко злу, а мою любовь к ней — к проявлению доброты. Отсюда вывод, основанный всего-навсего на том, что я все еще хотел ее, — что якобы я был «слишком добр» к ней. Если предположить, что это не простая вежливость — а она действительно так думала, — то получалось, что она пришла к заключению этического характера (она недостаточно добра ко мне) благодаря тому лишь, что перестала любить меня — обстоятельство, которое, как она считала, сделало ее личность менее достойной по сравнению с моей, — я был тем человеком, который по доброте своего сердца по-прежнему чувствовал в себе силы любить ее.

9. Но пускай отказ любить всегда болезнен, разве мы можем всерьез приравнивать любовь к самоотверженности, а ее отсутствие к жестокости? Разве можем отождествить любовь с добродетелью, а безразличие — с грехом? Была ли моя любовь к Хлое проявлением нравственности, а то, что она отвергла меня, — свидетельством ее отсутствия? Вина, которую Хлоя должна была испытывать по отношению ко мне, напрямую зависела от того, насколько моя любовь могла рассматриваться как нечто, что я отдал ей бескорыстно. Поскольку, если в моем даре содержалась примесь эгоизма, Хлоя полностью оправдывалась, когда равным образом эгоистично прерывала наши отношения. С этой точки зрения конец любви предстает конфликтом между двумя сугубо эгоистичными побуждениями, а не между альтруизмом и эгоизмом, нравственностью и безнравственностью.

10. В согласии с кантианской философией, моральный поступок отличается от аморального тем, что совершается из чувства долга, — независимо от того, несет ли он с собой боль или удовольствие. Я поступаю в согласии с моралью лишь тогда, когда я делаю что-то, не думая, что могу получить взамен, руководимый лишь долгом: «Для того чтобы любой поступок был признан нравственным, недостаточно, чтобы он не противоречил законам морали, — он должен, кроме того, совершаться во имя этих законов»^[53]. Действия, совершаемые в расчете что-то приобрести, не могут называться нравственными — налицо прямой отказ от потребительского взгляда на мораль, поставленную на службу исполнению желаний. Суть воззрений Канта состоит в том, что нравственность содержится исключительно в мотиве поступка. Любовь к кому-то нравственна, лишь когда этой любви

удостаивают вне зависимости от ожидаемого вознаграждения, когда любят только ради того, чтобы любить.

11. Я обвинял Хлою в безнравственности, потому что она отвергла ухаживания человека, который каждый день обеспечивал ее комфорт, поддерживал, внушал уверенность в себе и любил. Но следовало ли выдвигать против нее такого рода обвинения, если она не оценила этого? Безусловно, мы заслуживаем обвинения, когда с презрением отвергаем дар, потребовавший от дарителя жертв и дорого стоивший ему, но если дающий испытывает, вручая подарок, столько же удовольствия, сколько испытываем мы, получая его, разве уместно тогда вести разговор на языке морали? Если любовь изначально дается из эгоистических побуждений (иначе говоря, для собственной пользы, даже если она исходит из нужд другого), то такой дар, по крайней мере с точки зрения Канта, противоречит морали. Был ли я лучше Хлои только потому, что любил ее? Конечно, нет, поскольку, хотя моя любовь к ней включала самопожертвование, я шел на это из-за того, что это само по себе делало меня счастливым. Я не мучил себя, я действовал так лишь потому, что подобные действия наилучшим образом соответствовали моим наклонностям, потому что это *не был* долг.

12. Мы провели время, любя как утилитаристы^[54], в спальне мы были последователями Гоббса^[55] и Бентама^[56], а не Платона и Канта. Мы строили суждения о морали, основываясь на том, что нам больше понравится, а не на основании трансцендентных^[57] ценностей, как Гоббс писал в своих «Основах права»:

«Всякий человек называет то, что нравится ему и доставляет ему удовольствие, *добром*; и называет *злом* то, что не нравится ему: это различие так велико, что, подобно тому, как один человек отличается от другого сложением, так же они различаются и в том, что касается общего определения добра и зла. Точно так же не существует такой вещи, как *agathon haplos*^[58], то есть просто хорошего...»^[59]

13. Я назвал Хлою злой, потому что она «не угодила» мне, а не потому что зло было заложено в ней изначально. Моя система ценностей скорее подразумевала *оправдание* ситуации, а не объяснение проступка Хлои в сопоставлении с некоей абсолютной величиной. Я стал жертвой классической ошибки моралиста, так кратко и точно обрисованной Ницше:

«В первый момент действия отдельного человека оцениваются как хорошие или плохие вне всякой связи с побудительным мотивом, но в расчет принимаются только их полезные или вредные последствия. Тем не менее скоро люди забывают причину такой оценки и думают, что качества *хороший* и *плохой* были изначально присущи самим действиям, независимо от следствий...»^[60]

Мои нравственные определения, ярлыки, которые я навесил на Хлою, были продиктованы исключительно тем, что доставляло мне удовольствие или, напротив, причиняло боль, — я являл пример эгоцентричного морализатора, судящего мир и обязанности женщины в нем исключительно по тому, насколько они соответствовали его

собственным интересам. Моя нравственная оценка была лишь сублимацией моих желаний — платоническое преступление, если вообще преступление.

14. На вершине самодовольного отчаяния я вопрошал: «Разве это не мое право быть любимым и не ее обязанность любить меня?» Хлоина любовь была необходима, ее присутствие в кровати рядом со мной было столь же важным, как свобода или право жить. Если правительство гарантирует мне два последних, почему оно не может гарантировать мне право быть любимым? Почему оно уделило такое внимание праву жизни и свободе слова, если мне наплевать на оба, когда нет человека, придающего этой жизни смысл? Зачем нужна жизнь, если жить предстоит без любви и без того, чтобы быть услышанным? Что значит свобода, если она означает свободу быть покинутым?

15. Но какая Сила способна распространить язык права на любовь, заставить людей любить из чувства долга? Разве не было бы это всего-навсего другим проявлением романтического терроризма, романтического фашизма? Мораль должна иметь свои границы. Она — предмет разбирательств на высоких судах и не предназначена для соленых слез в глухую ночь и душераздирающих прощаний излишне сытых, излишне ухоженных, излишне начитанных, рафинированных сентименталистов. Я всегда любил эгоистично, спонтанно, как утилитарист. И если утилитаризм провозглашает действие правильным, только если оно обещает возможно большее счастье для возможно большего числа людей, теперешняя боль, моя — с которой была сопряжена любовь к Хлое, и ее — с которой для нее было сопряжено положение любимой, — являлась самым надежным признаком того, что наши отношения не просто находились за рамками морали, но что они стали противоречить морали.

16. То, что гнев нельзя было выплеснуть в обвинении, было большим несчастьем для меня. Боль заставляла меня искать обидчика, но ответственность нельзя было возложить на Хлою. Я узнал, что люди находятся по отношению друг к другу в состоянии отрицательной свободы, обязанные не причинять другим боль, но, конечно, не принуждаемые никем любить друг друга, когда нет такого желания. Примитивная, лишенная трагизма уверенность внушала мне, что мой гнев — достаточное основание обвинять другого, но я сознавал, что обвинение можно предъявить только тогда, когда есть свободный выбор. На осла не сердятся за то, что он не умеет петь, поскольку его природа не позволяет ему издавать других звуков, кроме фырканья. Точно так же нельзя обвинять любовника в том, что он любит или не любит, поскольку это не в его власти, а потому он не может нести за это ответственность. Впрочем, есть нечто делающее отказ в любви более труднопереносимым, чем отказ осла петь, — ведь осел никогда не поет, а любовника ты видел любящим. Легче простить осла неумение петь, потому что он никогда не пел, любовник же любил, и, может быть, еще совсем недавно, — отсюда так тяжело бывает поверить ему, когда он говорит: «Я тебя больше не люблю».

17. Дерзкая сущность желания быть любимым явилась только теперь, когда любовь перестала быть взаимной, — я остался наедине со своим желанием, беззащитный, бесправный, по ту сторону закона, шокирующе грубый в своих требованиях: «Люби меня!» А, собственно говоря, почему? У меня было лишь одно слабое, дежурное извинение:

«Потому что я люблю тебя...»

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

ПСИХОФАТАЛИЗМ

1. Когда с нами случается беда, в поиске причин мы невольно пренебрегаем обычными объяснениями, предлагаемыми нам повседневностью, стремясь понять, почему именно мы должны были понести это ужасное, непереносимое наказание. И чем масштабнее разрушения, тем более склоняемся мы к тому, чтобы приписывать событию значительность, которой объективно оно не имеет, тем с большей легкостью мы впадаем в своего рода психофатализм. Сбитый с толку и измученный горем, я задыхался в поисках знаков, символов, пытаюсь найти разумное начало в этом хаосе: «Почему я? Почему это? Почему сейчас?» Я исследовал прошлое в поисках источников, знамений, проступков — всего, что могло бы послужить разумной причиной того безумия, которое окружало меня; чего-то, что могло бы подействовать как бальзам для нанесенной мне раны; чего-то, что могло бы помочь связать воедино несопоставимые события, некоей схемы, в которой я мог бы объединить случайные точки и тире своей жизни.

2. Мне пришлось оставить технооптимизм современности, я прошел сквозь сеть, созданную для того, чтобы противостоять примитивным страхам. Я перестал читать ежедневные газеты и верить тому, что говорят по телевизору, я перестал доверять прогнозам погоды и экономическим показателям. Моя мысль прокладывала путь во мраке тысячелетий — землетрясения, потопа, опустошения, эпидемии чумы. Я приблизился к миру богов, к миру первобытных сил, управляющих нашими жизнями. Я ощущал мимолетность всего, иллюзии, на которых основывались теории, пусковые установки ракет, выборы и рестораны быстрого питания. В счастье и покое я видел вопиющий отказ от реальности. Я смотрел в глаза пассажирам, едущим на работу, и удивлялся, почему они этого не понимают. Я представлял себе космические катастрофы, разливающиеся потоки лавы, мародерство и разрушения. Я постиг боль истории, этих воспоминаний о кровопролитии, упакованных в тошнотворную ностальгию. Я ощущал высокомерие ученых и политиков, авторов выпусков новостей и служащих на бензоколонке, ограниченность бухгалтеров и садовников. Я причислил себя к великим изгоям, я сделался последователем Диониса и Калибана, всех тех, кого поносили за то, что они видели на лице гнойные бородавки истины. Короче говоря, я очень скоро потерял рассудок.

3. Но был ли у меня выбор? Отъезд Хлои пошатнул веру в то, что я был хозяином в своем собственном доме, он напомнил мне о слабости нейронов, бессилии здравого рассудка и его неадекватности. На меня перестала действовать сила тяжести, следствием полного отчаяния явился распад и странная ясность мыслей. Я чувствовал себя неспособным продолжать собственное повествование, но готов был поклясться, что некий дух делал это за меня, ребячливый, нетерпеливый бесенок, которому нравилось возвышать своих героев, а потом бросать их с высот вниз на скалы. Я чувствовал себя игрушкой, подвешенной на резинке, то взлетающей к небесам, то опускающейся в самые недра души. Я был персонажем блестяще написанной истории, великий замысел которой мне было не под силу изменить. Слепо следуя тексту, я был актером, а не драматургом, — тексту, написанному чужой рукой, добавившей окончание, которое подталкивало меня к неизвестному, но мучительному

концу. Я признавался себе и раскаивался в необоснованности своего прежнего самонадеянного оптимизма, уверенности, что ответ можно найти путем размышлений. Я вдруг осознал, что движение машины вышло из-под контроля: я мог жать на тормоза или переключать скорости, но она неслась вперед, независимо от того, что я делал, подчиняясь собственным законам. Мое временное ощущение, что педали делают свое дело, оказалось обманом, моя прежняя уверенность явилась следствием лишь случайного совпадения между регуляторами движения и движением, рассудочными теориями и судьбой.

4. Если мой собственный ум был лишь слабым имитатором, а не автором происходящего, тогда настоящий разум должен был находиться где-то еще, за сценой — по ту сторону декораций или за кулисами. И я снова обращался к судьбе, и снова чувствовал божественную природу зарождения любви. И приход ее, и уход (такой прекрасный первый и такой ужасный второй), оба ясно говорили о том, что я не более чем игрушка для забав Купидона и Афродиты. Понесся невыносимо тяжелое наказание, я терялся в поисках своей вины. Я неосознанно совершил преступление, поправ ногами опасности, о которых даже не подозревал, убивая, и не зная того, — преступление, не приносящее облегчения, поскольку оно было совершено без всякого сознательного мотива. Я хотел, чтобы любовь жила, но я тем не менее убил ее. Я страдал от преступления и не знал, что совершил его, — теперь я пытался понять, в чем состоит мой проступок, и поскольку не понимал, что сделал, то признавался во всем. Я усилием воли отвлекался от этого и хватался за оружие, меня неотступно преследовали мысли о всевозможных дерзких поступках, проявлениях заурядной жестокости и безрассудности — ничего из этого не упустили боги, избравшие теперь меня мишенью своего ужасного гнева. Я не мог смотреть на отражение собственного лица в зеркале, я вырывал свои глаза, я призывал птиц клевать мою печень и тащил груз грехов вверх на гору.

5. Древние мифы были, конечно, мертвы, они были слишком громоздки для века микрокалькуляторов; гора Олимп сегодня — горнолыжный курорт, «Дельфийский оракул» — бар неподалеку от Квинсвэй, но боги все еще находились здесь, они приняли новое обличье, надели костюмы и вошли в современную эпоху. Теперь они стали меньше, они заняли место не в просветах между облаками, а в нашей душе. Я переживал трагедию, разыгрывавшуюся на подмостках моей души, — отдельный человек как избранная сцена для битв богов. И в центре — Зевс-Фрейд, руководящий постановкой, назначающий мотивы, громы, молнии, проклятия. Я изнемогал в борьбе, проклятый судьбой, — не внешней, а психосудьбой: судьбой, действующей изнутри.

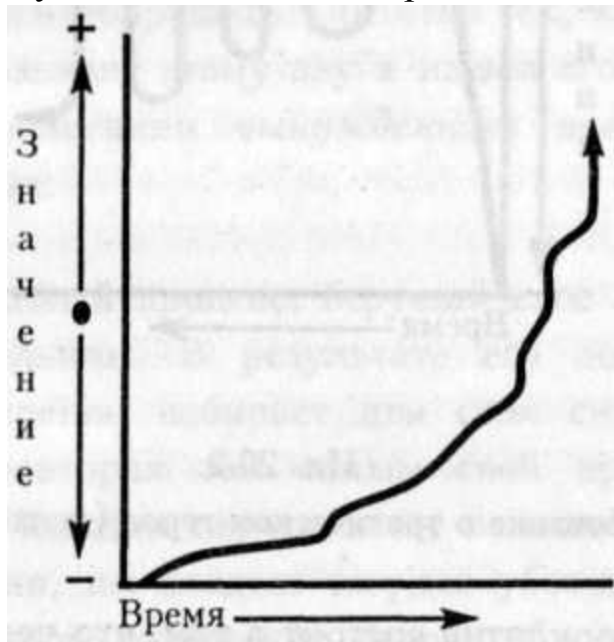
6. В эру науки психоанализ дал моим бесам имена. Будучи сам наукой, он сохранил динамику (если не дух) суеверия, уверенность в том, что в жизни большая часть событий разворачивается вне зависимости от контролирующей функции разума. В рассказах о маниях и бессознательных мотивациях, вынужденных поступках и проявлениях я узнавал мир Зевса и его коллег; Средиземноморье, перенесенное в Вену конца девятнадцатого столетия, — лишенный сакральности, оздоровленный вариант все той же самой картины. Завершая революцию Галилея и Дарвина, Фрейд вернул человека к исходному смирению наших греческих предшественников — на роль игрушки внешних сил, не действующих по своей воле и разумению. Мир Фрейда был создан из монет, одна из двух сторон которых всегда

остаётся для нас недоступной, — мир, где за ненавистью может скрываться великая любовь, а за великой любовью — ненависть; где мужчина может пытаться завоевать женщину, но подсознательно делать все, чтобы подтолкнуть ее в объятия другого. Изнутри научной сферы, которая так долго служила главным оплотом свободы воли, Фрейд явил возвращение к своего рода душевному детерминизму. Это был иронический поворот в истории мысли, последователи Фрейда изнутри самой науки поставили под вопрос преобладание думающего «я». «Я думаю, следовательно, я существую» преобразовалось в Лаканово^[61] «Я не существую там, где я мыслю, и я мыслю там, где я не существую».

7. Нет такой трансцендентной точки, с которой мы могли бы рассматривать прошлое. Оно всегда воссоздается в настоящем и все время изменяется в соответствии с его движением. Мы также не обращаемся к прошлому ради него самого, мы делаем это для того, чтобы помочь себе в истолковании настоящего. Роль, которую любовь к Хлое сыграла в моей жизни, стала выглядеть совершенно иначе теперь, когда все так несчастливо завершилось. Пока отношения продолжались, в лучшие минуты я вставлял любовь в рассказ о вечно самосовершенствующейся любви, — доказательство того, что я в конечном счете учился искусству жить и быть счастливым. Я вспомнил свою тетю, какое-то время увлекавшуюся мистикой, которая однажды предсказала мне, что я найду покой в любви, и почти наверняка это будет девушка, которая будет заниматься рисунком или писать картины. В один из дней, глядя, как Хлоя рисует набросок, я вспомнил эту свою тетю и пришел в восторг, видя, что даже в этой детали Хлоя полностью соответствовала тетиному предсказанию. Идя с ней за руку по улице, я иногда ощущал, что боги благословили меня, что мне было даровано счастье, и свидетельство тому — светящийся нимб над моей головой.

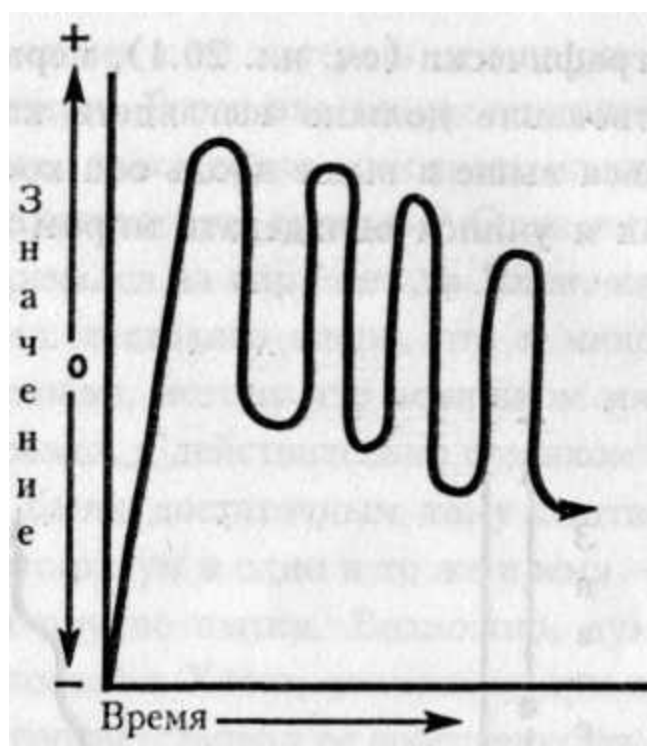
8. Стоит нам заняться поиском предзнаменований, не важно, хороших или дурных, как они легко обнаруживаются. Хлоя ушла, и возобладала совсем другая любовная история, роман, который был обречен на неудачу, который состоялся *именно потому*, что он должен был закончиться ничем, неуспех которого классически повторял образец уже несколько раз воспроизводившегося в нашей семье невроза. Я вспомнил, что, когда разошлись мои собственные родители, мать предупреждала меня об опасности попасть в такую же ловушку, поскольку это произошло до нее с ее матерью, и еще раньше — с матерью ее матери. Разве это не наследственная болезнь, не проклятие, наложенное на семью нашим генетическим и психологическим складом? Одна женщина, с которой я встречался за пару лет до Хлои, как-то сказала мне во время жестокого спора, что я никогда не буду счастлив в любви, потому что «слишком много думаю». Это была правда, я действительно слишком много думал (эти мысли были достаточным тому подтверждением); оказалось, что разум в одно и то же время — бесценный помощник и орудие пытки. Возможно, думанием я невольно и оттолкнул Хлою, поскольку дух строгого анализа так не соответствовал ее собственному. Мне вспомнилось, что однажды, когда я ждал приема у зубного врача, мне попался на глаза гороскоп, где я прочел предупреждение, что чем сильнее я буду стараться преуспеть в любви, тем меньшего мне удастся достичь. То, что Хлоя отвергла меня, представилось мне частью устойчивой схемы, согласно которой все мои усилия во взаимоотношениях с женщиной ведут лишь к тому, что все разваливается под влиянием некоего, до сей поры неизвестного механизма психологического фатума. Я не мог ничего сделать правильно, я прогневал богов, на мне было проклятие Афродиты.

9. Психофатализм, пришедший на смену прежнему романтическому фатализму, был всего лишь иным проявлением того же самого. И то и другое были разновидности нарратива, звенья в цепи событий, существовавшие вне чисто временных связей и обязанные своей направленностью оценочной шкале, — одно как повествование о герое, другое — о трагическом герое. Переданное графически (см. ил. 20.1), первое и счастливое повествование должно выглядеть как стрелка, поднимающаяся выше и выше вдоль оси координат, по мере того как я учился овладевать миром и понимать любовь.



Ил. 20.1. Героическое повествование (романтический фатализм)

10. Но факт, что Хлоя отвергла меня, испортил эту картину, напомнив мне, что мое прошлое было достаточно сложным для того, чтобы в нем нашлось основание для совсем другой истории, в этом прошлом за счастьем неизменно следовало жестокое падение. На другой диаграмме (см. ил. 20.2) события моей жизни могли быть изображены как серия пиков, за которыми сразу следуют все более глубокие впадины, — жизнь трагического героя, который за свои удачи всегда должен будет платить самую высокую цену.



Ил. 20.2. Повествование о трагическом герое (психофатализм)

11. Суть проклятия состоит в том, что человеку, страдающему от него, не дано знать о его существовании. Это своего рода секретный код внутри личности, проявляющийся в ходе жизни, но не находящийся рациональной, своевременной формулировки. Эдип предупрежден оракулом, что он убьет своего отца и женится на матери, но сознательные предупреждения не достигают цели, они лишь предостерегают думающее «я», но не могут разрушить закодированное проклятие. Чтобы избежать исполнения того, что предсказал оракул, Эдипа изгоняют из дома, но он в конце концов все равно женится на Иокасте — его история рассказывается для него, а не им. Он знает о возможном исходе, он знает об опасностях, и в то же время он ничего не в состоянии изменить: проклятие попирает волю.

12. Но от какого проклятия страдал я? Именно от неспособности заключить счастливые взаимоотношения — самое большое несчастье, какое только может быть в современном обществе. Изгнанный из тенистых кущ любви, я всегда буду обречен странствовать по земле до дня своей смерти, не в состоянии избавиться от силы, вынуждающей меня обращать в бегство тех, кого я любил. Я искал название этому злу и нашел его в психоаналитическом описании *вынужденного повторения*, определяемом как:

«...неуправляемый процесс, берущий свое начало в подсознательном. В результате его действия субъект намеренно избирает для себя ситуации страдания, повторяя тем самым свой прежний опыт, хотя в каждом случае он не помнит прототипа; напротив, им владеет твердое убеждение в том, что данное положение вещей обусловлено обстоятельствами текущего момента»^[62].

13. Что хорошо в психоанализе (если только оптимизм здесь уместен), так это то, что мир, в котором мы живем, он представляет значимым. Нет философии, которой была бы более чужда мысль, что все это — сказка, рассказанная умалишенным и вовсе не имеющая смысла (даже отрицание значения само по себе значимо). И тем не менее этот смысл

никогда не лежит на поверхности: психофаталистическое прочтение пошло на незаметную подмену слов «и потом» словами «с тем чтобы», таким образом устанавливая парализующую волю причинную связь. Я не просто полюбил Хлою, и потом она оставила меня. Я полюбил Хлою, с тем чтобы она оставила меня. Причинившая мне столько боли история моей любви к ней предстала палимпсестом^[63], под которым было начертано иное повествование. Этот погребенный в подсознании образец сформировался в первые месяцы или первые годы моей жизни. Ребенка увезли от матери (вариант: мать оставила ребенка), и сейчас ребенок-мужчина воссоздал тот же сценарий, но с другими актерами, оставив неизменным сюжет: Хлое пришлось в пору одежды, которые носила другая женщина. Ведь почему я вообще выбрал ее? Не из-за особой улыбки или живости ума. Это случилось потому, что подсознательное, режиссер всей этой внутренней постановки, увидело в ней подходящий типаж для роли в пьесе мать-дитя, угадало личность, которая оправдывает надежды драматурга, покинув сцену как раз вовремя и вызвав своим уходом требуемые разрушения и боль.

14. В отличие от проклятий греческих богов, психофатализм, по крайней мере, внушает надежду, что от него можно уйти. Там, где было Id, может найтись место для Ego — при условии, что Ego не настолько сокрушено болью, побито, истекает кровью, пронзено насквозь, не способно планировать сегодняшней день, уже не говоря о жизни. Мое Ego потеряло всякую волю к выздоровлению, оно было опустошено ураганом и боролось только за то, чтобы восстановить основные функции. Если бы я нашел в себе силы подняться с постели, возможно, я бы проделал то же самое и со своей берлогой, а там, как Эдип в Колоне, начал бы созидать конец своим мучениям. Но я не мог собрать здравого смысла в количестве, необходимом для того, чтобы выйти из дома и отправиться за помощью. Я даже не мог говорить или образно выражать свои чувства, я не мог поделиться своим страданием с другими, и вот оно опустошало меня. Я лежал, свернувшись, на кровати, задернув шторы, чувствуя раздражение от малейшего шума или света, расстраиваясь сверх меры из-за того, что молоко в холодильнике испортилось, а ящик стола открылся не с первого раза. Видя, как вещи ускользают из рук, я решил, что единственный путь заставить их, по крайней мере отчасти, повиноваться, это покончить с собой.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

САМОУБИЙСТВО

1. Подошло Рождество, неся с собой веселые песни, поздравительные открытки и первые снегопады. Когда-то мы с Хлоей собирались провести праздники в маленькой гостинице в Йоркшире... На моем столе до сих пор лежал рекламный проспект: *«Эби Коттедж» приглашает своих гостей насладиться горячим йоркширским гостеприимством в окружении уникальной природы. Посидите у открытого огня в обитой дубом гостиной, прогуляйтесь вдоль стен или просто расслабьтесь и дайте нам позаботиться о вас. Отдых в «Эби Коттедж» — это то, к чему вы всегда стремились, и даже больше.*

2. За два дня до Рождества и за несколько часов до моей смерти, в мрачную пятницу, в пять часов вечера мне позвонил Уилл Нотт:

— Я подумал, что нужно попрощаться. В эти выходные я должен лететь обратно в Сан-Франциско.

— Понятно.

— Скажи, как у тебя дела?

— Прости, что?

— У тебя все в порядке?

— Ты говоришь — в порядке? Впрочем, можно сказать и так.

— Я расстроился, когда узнал о вас с Хлоей. Правда, очень жаль.

— А я был очень рад услышать о вас с Хлоей.

— Ты уже слышал... Видишь ли, так получилось. Ты знаешь, как она мне всегда нравилась. Так вот, она позвонила мне и сказала, что между вами, ребята, все кончено, ну, тут все и началось.

— Замечательно, Уилл, просто здорово.

— Я рад, что ты говоришь так. Мне бы не хотелось, чтобы это или что-нибудь другое встало между нами, потому что настоящая дружба — не то, что я легко готов отправить в корзину. Я все время надеялся, что вы с ней как-нибудь все уладите, мне кажется, вы были прекрасной парой. Правда, жалко, но что поделаешь? Кстати, где ты проводишь Рождество?

— Думаю, у себя.

— Похоже, у вас здесь намечается настоящий снегопад, пора доставать лыжи, а?

— Хлоя сейчас с тобой?

— Со мной ли она сейчас? Да нет, то есть в данный момент нет. Она была здесь, но сейчас вышла в магазин. Мы с ней говорили о рождественских хлопушках, и она сказала, что любит их, так вот, она пошла за ними.

— Здорово, передай ей привет.

— Уверен, она очень обрадуется, узнав, что мы с тобой разговаривали. Ты знаешь, что она собирается на Рождество вместе со мной в Калифорнию?

— Вот как?

— Да, она будет потрясена тем, что увидит. Дня два мы проведем с моими родителями в Санта-Барбаре, а потом, возможно, поедем на несколько дней в пустыню или еще куда-нибудь.

— Она любит пустыни.

— Точно, она так мне и сказала. Ладно, наверное, нам лучше теперь попрощаться, желаю тебе веселых праздников. Мне пора собирать барахло, оно тут везде разбросано. Может быть, я снова приеду в Европу следующей осенью, но в любом случае я позвоню тебе узнать, как ты живешь...

3. Я пошел в ванную и выгреб все до одной таблетки, которые у меня были, отнес и сложил их на кухонном столе. Смесь из аспирина, витаминов, снотворного, нескольких склянок с сиропом от кашля плюс виски внушала надежду покончить со всем этим балаганом. Что может поспорить в чувствительности с такой реакцией — убить себя, когда твоя любовь была отвергнута? Если Хлоя и правда была всей моей жизнью, разве не было естественным с моей стороны посчитать себя обязанным положить этой жизни конец, чтобы доказать невозможность продолжать жить без нее? Разве не было с моей стороны проявлением непорядочности продолжать просыпаться каждое утро, когда человек, бывший, как я утверждал, смыслом моего существования, теперь покупал рождественские хлопушки для архитектора из Калифорнии, владельца дома в предгорьях Санта-Барбары?

4. Мой разрыв с Хлоей сопровождали бесконечные выражения сочувствия со стороны друзей и знакомых: наверное, это было к лучшему, люди расходятся, страсть не может длиться вечно, так хорошо прожить жизнь, все-таки познав любовь, время все лечит. Даже Уилл ухитрился сделать так, что в его устах это приобрело торжественное звучание, как землетрясение или снегопад, своего рода испытание, которое природа посылает нам, чью неизбежность нельзя и помыслить чтобы оспорить. Моя смерть должна была прозвучать мощным отрицанием «нормального» — она должна была свидетельствовать, что если другие забыли, то я не согласен забыть. Я хотел избежать эрозии и сглаживания временем, я хотел, чтобы эта боль длилась вечно — лишь для того, чтобы она продолжала связывать меня с Хлоей через сожженные нервные окончания. Только своей смертью мог я подтвердить значительность и бессмертие своей любви, только посредством саморазрушения мог я напомнить миру, уставшему от трагедий, что любовь — жизненно-важная материя.

5. Тот, кто будет это читать, будет жив, но автор будет мертв. Часы показывали семь, а снег все еще падал, укутывая город белым покрывалом, — нет, саваном. *Я не знал другого способа сказать тебе о своей любви; я достаточно взрослый человек и не хочу, чтобы ты обвиняла себя в этом, — сама знаешь, что я думаю о чувстве вины. Надеюсь, в Калифорнии тебе понравится, горы действительно очень красивые. Я знаю, ты не могла любить меня, — пожалуйста, пойми, я не мог жить без твоей любви...* Текст предсмертного письма (составление его как отсрочка самоубийства) прошел через много редакций: кипа смятой бумаги лежала возле меня на столе. Я сидел на кухне, закутавшись в серое пальто, в компании одного лишь вздрагивающего холодильника. Внезапно резким движением я схватил упаковку с лекарствами и проглотил, как я понял позже, двадцать шипучих таблеток витамина С.

6. Я представил себе, как вскоре после того, как обнаружат мое неподвижное тело, к Хлое придет полиция. Нетрудно вообразить выражение испуга на ее лице, Уилла Нотта, возникающего на пороге спальни — испачканная простыня вокруг бедер, — спрашивающего «Дорогая, что-нибудь случилось?», — и как она отвечает: «Господи Боже, да, да,

случилось!» — и раздражается рыданиями. Затем следует самое горькое сожаление и угрызения совести — она станет винить себя в том, что не понимала меня, что была так жестока, что была так недальновидна. Разве какой-нибудь другой мужчина был настолько предан ей, чтобы ради нее лишиться себя жизни?

7. Печально известная неспособность человека выражать эмоции делает человеческое существо единственным представителем животного мира, могущим совершить самоубийство. Рассерженная собака не убивает себя, она кусает того или то, что вызвало ее злость; рассерженное двуногое, напротив, предается в своей комнате унынию, а затем молчание разрешается выстрелом. Человек питает слабость к символам и метафорам — не будучи в состоянии выплеснуть свою злость, я собирался выразить ее иносказательно, избрав для этой цели собственную смерть. Я скорее готов был нанести рану себе, чем Хлое, и потому собирался, умертвив себя, самым этим убийством дать ей почувствовать, что она сделала со мной.

8. Теперь у меня изо рта шла пена, оранжевые пузыри множились в его глубине и лопались сразу же, лишь только приходили в соприкосновение с воздухом, разбрызгивая блестящую оранжевую оболочку по столу и воротнику моей рубашки. Молча наблюдая этот химический спектакль, разыгрываемый кислотой, я вдруг поразился непоследовательности самоубийства, а именно тем, что я не хотел *выбирать* между жизнью и смертью. Я лишь хотел показать Хлое, что я, в переносном смысле, не могу жить без нее. Ирония состояла в том, что смерть оказалась бы слишком буквальна для того, чтобы у меня был шанс убедиться, что метафора достигла цели. Неспособность мертвеца к действиям (по крайней мере, в рамках повседневности) отнимала у меня возможность увидеть живых, когда они будут смотреть на мертвого. Зачем разыгрывать эту сцену, если я не смогу присутствовать там, чтобы засвидетельствовать, что остальные участники засвидетельствовали ее? Рисуя свою смерть, я представлял самого себя в роли зрителя собственного ухода, чего никогда не может быть на самом деле: я буду попросту мертв, и потому не исполнится мое последнее желание — *быть одновременно мертвым и живым*. Мертвым настолько, чтобы показать миру вообще и Хлое в частности, насколько я был зол, живым настолько, чтобы смочь увидеть впечатление, которое я произвел на Хлою, и таким образом избавиться от своей злости. Речь не шла о том, быть или не быть. Мой ответ Гамлету звучал: и быть и не быть.

9. Люди, совершающие самоубийство в силу определенных причин, по-видимому, забывают вторую часть уравнения: они рассматривают смерть как продолжение жизни (что-то вроде жизни после смерти, в которой они увидят результат своих действий). Шатаясь, я подошел к раковине, и мой желудок изверг из себя шипучий яд. Вся прелесть самоубийства состоит не в отвратительной задаче убить свой организм, но в реакции окружающих на мою смерть (Хлоя, рыдающая у могилы, Уилл, прячущий глаза, оба они, бросающие комья земли на мой ореховый гроб). Убить себя означало бы забыть, что я буду слишком мертв, чтобы извлечь хоть какое-то удовольствие из мелодрамы собственной кончины.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

КОМПЛЕКС ИИСУСА

1. Если есть какая-то выгода в том, чтобы биться в агонии, то ее, возможно, следует искать в способности некоторых страдальцев (пусть неправильно) воспринимать это несчастье как следствие собственной исключительности. Для чего иначе они были избраны перенести эти чудовищные муки, как не для того, чтобы показать: они не такие, как все, *а значит, уже заранее лучше* тех, кто не знает страдания?

2. Остаться одному в своей квартире во время рождественских каникул было выше моих сил, поэтому я занял номер в маленькой гостинице поблизости от Бэйсуотер-роуд. Кроме небольшого дипломата, я взял с собой также немного книг и одежды, но ничего не читал и ни во что не переодевался. Целые дни я проводил в белом банном халате, валяясь на подушках и переключая телевизионные каналы, читая листок с перечнем услуг или прислушиваясь к случайным звукам, доносившимся извне.

3. Сначала этот звук было почти невозможно отделить от общего фона уличного движения: хлопали, закрываясь, дверцы машин, ревели моторы грузовиков, переходивших на первую скорость, пневматическая дрель била в мостовую. Но, перекрывая все это, до меня все более явственно стал доходить совершенно иной звук, просачивавшийся сквозь тонкую гостиничную перегородку; его источник находился где-то на уровне моей головы, в этот момент мявшей номер журнала «Тайм», положенный на засаленный подлокотник дивана. Скоро стало совершенно ясно — и можно было сколько угодно делать вид, что это не так (Бог свидетель, как мне этого хотелось), — что звук, слышимый из следующей по коридору комнаты, был не чем иным, как сопровождением ритуала совокупления, в котором соединились два представителя человеческого вида. «Трахаются, — подумал я. — Там трахаются!»

4. Когда мужчина слышит, как другие занимаются этим, с известной долей уверенности можно предположить, что его реакция будет одной из следующих. Если он молод и у него развито воображение, он может сознательно включить механизм отождествления себя с лицом мужского пола за стенкой, создав в своем воображении поэта идеальный образ счастливой женщины — Беатриче, Джульетты, Шарлотты, Тесс, — крики которой, как он льстит себе, вызваны его действиями. Если же, напротив, это объективное напоминание о существовании либидо оскорбляет его чувства, он может отвернуться, подумать об Англии и сделать телевизор погромче.

5. Что касается меня, то моя реакция была примечательна исключительно в силу своей пассивности — если точно, я не продвинулся в ней дальше констатации. С тех пор как Хлоя оставила меня, я мало что делал, постоянно ограничиваясь констатацией. Я превратился в человека, которого во всех смыслах слова мало что могло удивить. Удивление, как его определяет психология, есть реакция на неожиданность, но с некоторых пор я стал ожидать чего угодно, а потому ничему не удивлялся.

6. Что происходило в моей душе? Ничего, в ней только звучала песенка, которую я слышал однажды в машине Хлои, когда солнце садилось за горизонт, где с небом сливалось шоссе:

Это любовь, святая любовь.

Слушай, как я кричу твое имя, мне нечего стыдиться —

Это любовь, святая любовь.

Никогда не уходи, и так будет всегда.

Я был отравлен собственной печалью, я достиг заоблачных высот страдания — момента, когда боль вдруг превращается в ценность и переходит в комплекс Иисуса. Звуки, издаваемые парой, занимавшейся любовью, и песенка, напомнившая о временах моего счастья, слились в потоках слез, которыми я разразился при мысли о своих невзгодах. Но в первый раз это были не злые, обжигающие слезы, а горько-сладкий вкус вод, окрашенных уверенностью, что это не я, но люди заставили меня страдать, что это люди были настолько слепы. Я испытывал восторг, я достиг вершины, где страдание переносит человека в долину радости, — радости, ведомой мученикам, радости, которую дает комплекс Иисуса. Я представлял себе, как Хлоя и Уилл путешествуют по Калифорнии, я внимал требованиям «еще» и «сильнее», доносившимся из-за соседней двери, и упивался своей бедой.

7. «Каким великим можно стать, если все тебя понимают?» — спрашивал я себя, размышляя о судьбе Сына Божьего. Разве мог я на самом деле и дальше обвинять себя за то, что Хлоя оказалась неспособна меня понять? Ее отказ скорее свидетельствовал о том, насколько близорука она была, чем о моей предполагаемой ущербности. Я больше не был обязательно вошью, а она ангелом. Она оставила меня ради третьеразрядного калифорнийского Корбюзье потому, что ей попросту не хватило глубины, чтобы понять. Я заново стал разбирать ее характер, останавливаясь на тех его сторонах, которые считал наименее приятными. В конце концов, она была слишком себялюбива, ее поверхностное очарование служило лишь облицовкой, скрывавшей гораздо менее привлекательную суть. Если ей удавалось внушать людям мысль о собственной привлекательности, то это происходило в гораздо большей степени за счет занимательной беседы и мягкой улыбки, а не подлинных достоинств, действительно заслуживающих любви. Другие не знали ее так, как знал ее я, и было очевидно (хотя в тот момент я этого не понимал), что ей был присущ внутренний эгоцентризм, даже язвительность, порой она бывала опрометчивой, часто невнимательной, иногда неблагодарной; когда уставала, она бывала нетерпелива; когда настаивала на своем — категорична, а в своем решении отвергнуть меня проявила легкомыслие и бестактность.

8. Сделавшись в результате страданий бесконечно мудрым, я, конечно, смог простить, пожалеть и отечески отнестись к ней в ее неразумии — и это само по себе приносило мне бесконечное облегчение. Я мог лежать в фиолетово-зеленом гостиничном номере и быть исполненным чувства собственной добродетели и величия. Я испытывал к Хлое жалость из-за всего, чего она не могла понять, — бесконечно мудрый провидец, который взирает на пути мужчин и женщин с меланхолической, понимающей усмешкой.

9. Почему я назвал свой комплекс, извращенный психологический ход, превративший все недостатки и унижения в их противоположность, комплексом Иисуса? Я мог отождествить свои страдания с мучениями Юного Вертера, Мадам Бовари или Свана, но ни один из этих отвергнутых любовников не выдерживал сравнения с незапятнанной добродетелью Иисуса и его бесспорной добротой на фоне злобы тех, кого он пытался любить. И вовсе не слезливый взгляд и болезненное лицо, каким рисовали его художники Возрождения, делали образ Иисуса таким притягательным, но то, что Иисус был человеком добрым, абсолютно справедливым, и его предали. Пафос Нового Завета, как и моего собственного романа, возник из печального повествования о добродетельном, но представившем себя в ложном свете человеке, который проповедовал любовь к ближнему своему, но увидел, как люди бросили великодушные его миссии ему в лицо.

10. Трудно представить, что христианство достигло бы таких успехов, не стой во главе его мученик. Если бы Иисус жил себе спокойно в Галилее, делая комоды и обеденные столы, а под старость, перед тем как умереть от сердечного приступа, опубликовал бы тоненькую книжку под названием «Моя философия жизни», он никогда бы не стал фигурой такого масштаба. Мучительная смерть на кресте, продажность и жестокость римских чиновников, предательство друзей — все это было необходимо для доказательства (скорее в психологическом, нежели в историческом аспекте) того, что заодно с этим человеком действовал Бог.

11. На благодатной почве страдания само собой умножилось ощущение собственной праведности. Чем больше человек страдает, тем он более праведен. Комплекс Иисуса немислим без чувства превосходства, — превосходства неудачника, который взывает к высшей добродетели, столкнувшись со всеподавляющим диктатом и слепотой своих гонителей. Когда женщина, которую я любил, бросила меня в беде, я вознес свое страдание до уровня качества (лишенный физических и духовных сил, лежа на кровати в три часа пополудни — Иисус на кресте) и таким образом защитил себя от того, чтобы мое горе было для меня последствием в лучшем случае обычного для мирской жизни любовного разрыва. Уход Хлои мог убить меня, но я, по крайней мере, остался горд сознанием своей верности высоким моральным принципам — приговоренный к смерти, но мученик в истории.

12. Комплекс Иисуса прямо противостоит «марксизму». «Марксизм» как порождение ненависти к себе воспрещал мне вступать в любой клуб, который согласится считать меня своим членом. Комплекс Иисуса также препятствовал моему членству, но теперь это происходило потому, что я был полон возвышенной любви к самому себе, он говорил, что я не принят в данный клуб только из-за того, что я слишком не такой, как все. Большинство клубов, являясь предприятием незрелым, естественно, не могут оценить людей великих, мудрых и чувствительных, которые потому обречены топтаться у входа или быть изгоняемыми своими подругами. О моем превосходстве в первую очередь свидетельствовало мое одиночество и мое страдание: «Я страдаю, значит, я не такой, как все. Меня не понимают, но именно потому, что я заслуживаю лучшего понимания».

13. Алхимия превращения слабости в добродетель заслуживает снисхождения хотя бы из-за того, что она отменяет ненависть к себе, — и эта эволюция моей боли по направлению

к комплексу Иисуса, конечно, содержала в себе какие-то начатки душевного здоровья. Она показала, что в тонком душевном балансе между ненавистью и любовью к себе в данный момент перевешивала любовь. Моя первая реакция на то, что Хлоя оттолкнула меня, была продиктована ненавистью к себе: я продолжал любить Хлою и ненавидеть себя за то, что не могу вернуть прежние отношения. Но мой комплекс Иисуса переставил уравнение с ног на голову, сделав из отказа Хлои знак того, что она достойна презрения или в лучшем случае сострадания (этой вершины христианских добродетелей). Комплекс Иисуса был не чем иным, как механизмом самозащиты: я не хотел, чтобы Хлоя оставила меня, мое чувство к ней было сильнее, чем все то, что я когда-либо испытывал по отношению к женщине, но теперь, когда она улетела в Калифорнию, единственная возможность смириться с невыносимой утратой заключалась, прежде всего, в том, чтобы заново определить ее ценность. Конечно, это была ложь, но нам порой не хватает сил на честность, когда, оставленные и лишённые надежды, мы проводим Рождество в полном одиночестве в гостинице, слушая доносящиеся из-за стены звуки, издаваемые в блаженном состоянии оргазма.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

ЭЛЛИПСИС

1. Одна арабская поговорка гласит, что душа путешествует со скоростью верблюда. Пока нас без передышки гонит вперед расписанное между сегодняшними делами настоящее, наша душа, вместилище сердца, плетется позади, отягощенная грузом памяти. Если каждая любовная связь добавляет что-то к этому грузу, навьюченному на верблюда, мы должны быть готовы к тому, что душа замедлит ход в прямой пропорции к значительности груза любви. Ко времени, когда моя душа смогла наконец освободиться от сокрушающего веса воспоминаний, Хлоя уже почти убила моего верблюда.

2. С уходом Хлои у меня пропало всякое желание поддерживать связь с настоящим. Я жил прошлым, — другими словами, я все время возвращался к своей жизни, какой она была с ней. Мои глаза никогда по-настоящему не открывались, их взгляд был обращен назад и внутрь, в глубины памяти. Я чувствовал в себе желание провести всю оставшуюся жизнь, следуя за верблюдом, петляющим между барханами памяти, останавливающимся у чудесных оазисов, чтобы углубиться в страницы, испещренные образами лучших дней. Настоящее ничего не сулило мне, прошлое стало единственным временем, в котором я мог жить. Разве настоящее в сопоставлении с ним могло быть чем-то, кроме издевательского напоминания о человеке, который ушел безвозвратно? Что могло предложить будущее, кроме разве что еще более жуткого отсутствия?

3. Когда у меня получалось погрузиться в воспоминания, я иногда переставал отдавать себе отчет в настоящем без Хлои, вдруг воображая, что никакого разрыва не было и мы до сих пор вместе, что я могу позвонить ей в любое время с предложением пойти в «Одеон» посмотреть фильм или отправиться на прогулку в парк. Я предпочитал не думать о том, что она приняла решение поселиться с Уиллом в маленьком городе на юге Калифорнии, разум отказывался от передачи сообщений о действительности в пользу мечты об идиллических днях, наполненных восторгами, любовью и смехом. В такие минуты совершенно внезапно вдруг являлось нечто такое, что с силой швыряло меня обратно в лишенное Хлои настоящее. Звонил телефон, и пока я шел взять трубку, мне на пути (как в первый раз и со всей болью свежей утраты) попадалось опустевшее теперь место в ванной, где Хлоя обычно оставляла свою щетку для волос. И отсутствие на месте щетки ударяло как нож в сердце — невыносимое напоминание о том, что Хлоя ушла.

4. Трудность забыть ее усугублялась тем, что в окружающем мире оставалось еще много вещей, которые нас объединяли и в которых она все еще присутствовала. Чайник у меня на кухне мог вдруг вызвать воспоминание, как Хлоя наполняла его, тубик с томатной пастой на полке в супермаркете мог по совершенно необъяснимой ассоциации напомнить мне похожий поход за покупками несколько месяцев назад. Пересекая однажды поздно вечером Хаммерсмитскую эстакаду, я вдруг мог вспомнить, как ехал по этой дороге такой же дождливой ночью, только рядом со мной в машине была Хлоя. Порядок, в котором на моем диване лежали подушки, напоминал о том, как она клала на них голову, когда уставала, словарь на моей книжной полке говорил о ее страсти смотреть в словаре слова, которых она

не знала. Несколько раз в неделю, когда мы имели обыкновение делать что-то вместе, возникало жуткое ощущение пустоты при сравнении прошлого и настоящего: субботнее утро воскресало в памяти наши походы в музей, вечер в пятницу — клубы, где мы бывали вместе, вечер в понедельник — определенные теле-программы...

5. Физический мир не давал мне забыть. Жизнь более жестока, чем искусство, поскольку последнее обычно гарантирует, что состояние окружающего мира отражает состояние души действующих лиц. Если кто-нибудь в пьесе Лорки произносит реплику о том, как низко нависло небо, каким оно стало серым и темным, это не невинные метеорологические наблюдения, а психологический символ. Жизнь не дает нам в руки подобных маркеров — налетает шторм, и, вместо того чтобы он стал предвестником смерти и краха, человеку во время него открывается любовь и истина, счастье и красота, а дождь все время хлещет в стекло. Точно так же прекрасным теплым летним днем на очередном повороте дороги автомобиль на мгновение выходит из-под контроля и врезается в дерево с фатальными последствиями для тех, кто в нем ехал.

6. Но внешний мир не последовал за переменой моих настроений; здания, которые служили фоном для моего романа и в которые я вдохнул душу, наделив их чувствами, связанными с ним, теперь упорно отказывались сменить свой вид и прийти в соответствие с моим внутренним состоянием. Те же деревья обрамляли подъезд к Букингемскому дворцу, те же дома с оштукатуренными фасадами тянулись вдоль жилых улиц, тот же Серпентайн тек через Гайд-парк, то же самое небо было облицовано тем же голубым фарфором, те же машины ехали по тем же улицам, те же магазины торговали почти теми же самыми товарами, продавая их почти тем же людям.

7. Такой отказ меняться напоминал о том, что мир не отражает моей души, но существует независимо, и его существование будет продолжаться без всякой связи с тем, есть в моей жизни любовь или нет, счастлив я или несчастлив, жив или мертв. Нельзя было ждать, что мир станет приспособливаться к моему настроению или что огромным глыбам камня, формирующим улицы города, есть хоть какое-то дело до моего романа. И пускай они были счастливы послужить декорацией для моего счастья, им совершенно не хотелось рассыпаться в прах теперь, когда Хлоя ушла.

8. Потом я неизбежно начал забывать. Спустя несколько месяцев после разрыва с ней я оказался в той части Лондона, где она прежде жила, и заметил, что мысли о ней потеряли значительную часть той остроты, которую некогда имели, — я даже обратил внимание, что в первый момент даже вообще подумал не о ней (хотя находился прямо по соседству), а о той встрече, которая была мне назначена у ближайшего ресторана. Я понял, что воспоминание о Хлое нейтрализовалось и стало частью истории. И все же это забывание не было свободно от чувства вины. Меня ранило теперь не отсутствие Хлои, а то, что я становился безразличен к нему. Забвение наводило на мысль о смерти, об утрате, о неверности тому, что когда-то было мне так дорого.

9. Я постепенно отвоевывал обратно свое «я», вырабатывались новые привычки, возникала новая личность, не связанная с Хлоей. Моя личность так долго подделывалась под «мы», что возвращение к «я» предполагало почти полное обновление меня самого. Мне

требовалось много времени, чтобы выветрились все те сотни ассоциаций, которые у нас были общими с Хлоей. Я должен был прожить месяцы со своим диваном, прежде чем образ ее, лежащей на нем в халате, был вытеснен другим образом — кого-то из друзей, читающего на нем книгу, или брошенного поперек него моего пальто. Я должен был бесконечное число раз по разным поводам пройти через Ислингтон, прежде чем смог представить себе, что Ислингтон не только район, где жила Хлоя, а еще и место, где можно пройтись по магазинам или поужинать. Я должен был физически побывать всюду, заново проговорить все темы разговоров, прослушать все песни и сыграть во все игры, в которые мы играли вместе, чтобы отвоевать их для настоящего, чтобы развеять навеянные ими ассоциации. Но постепенно я забыл.

10. Время сократилось, как аккордеон, который живет в растяжении, но в памяти остается сжатым. Моя жизнь с Хлоей была похожа на кусок льда, который постепенно таял, пока я нес его через настоящее, она была похожа на свежую новость, делающуюся частью истории, и в этом процессе она сжалась до нескольких самых важных деталей. Это напоминало съемки фильма, когда камера делает тысячу кадров в минуту, но большая часть их выбраковывается, другие же таинственным образом отбираются — те немногие, которые отмечены повышенным эмоциональным накалом. Как столетие, сводимое к правлению того или иного папы, монарха или отмеченное какой-нибудь известной битвой, история моей любви уменьшилась до размера небольшого изобразительного ряда (картины носили более случайный характер, чем у историков, но точно так же прошли отбор): выражение Хлоино лица, когда мы в первый раз поцеловались, светлые волоски на ее руке, ее силуэт на фоне станции «Ливерпуль Стрит», где она ждала меня, ее белый свитер, ее смех, когда я рассказал ей анекдот о русском, едущем в поезде по Франции, то, как она проводила рукой по волосам...

11. Верблюд делался все легче и легче, проходя сквозь время; он то и дело стряхивал со своей спины воспоминания и фотографии, разбрасывая их по земле, так что ветер мог спокойно засыпать их песком, и постепенно ноша стала такой легкой, что он смог перейти на рысь, потом даже на своеобразный верблюжий галоп — и в один прекрасный день, в скромном оазисе, именуемом себя «настоящее», измученное создание наконец догнало остальную часть меня.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

УРОКИ ЛЮБВИ

1. Мы должны допустить, что из любви следует извлекать некоторые уроки, или мы будем иметь счастье повторять свои ошибки бесконечное число раз, как безмозглые мухи снова и снова летят и бьются головами в оконные стекла и не могут понять, что, хотя стекло выглядит прозрачным, сквозь него невозможно пролететь. Разве нельзя овладеть некоторыми основами знаний, крупицами мудрости, которые могли бы в какой-то мере обезопасить нас от излишнего энтузиазма, боли и горьких разочарований? Разве это не законное стремление к мудрости в любви, как можно сделаться мудрым в вопросах правильного питания, смерти или денег?

2. Мы пытаемся стать мудрыми, когда понимаем, что не родились со знанием того, как нужно жить, но что жизнь — искусство, которым нужно овладеть, как мы учимся кататься на велосипеде или играть на фортепиано. Но какой совет дает нам мудрость? Она велит нам стремиться к покою и внутреннему миру, к жизни, свободной от тревог, страха, преклонения перед идолами и вредных страстей. Мудрость учит нас, что не всегда нужно доверять первому порыву, что наши аппетиты уведут нас в сторону от правильного пути, если мы не будем привлекать рассудок, чтобы он отделил сиюминутное от того, что нам действительно необходимо. Она велит нам держать в узде наше воображение, иначе оно исказит реальность, превратит горы в кроличьи норы, а лягушек — в принцесс. Она велит нам держать под контролем наши страхи, разрешая бояться того, что может повредить нам, но запрещая тратить силы, шарахаясь от теней на стене. Она велит нам не бояться смерти, говоря, что есть лишь одна вещь, которой нужно бояться, — сам страх.

3. Но что мудрость говорит о любви? Является ли она чем-то таким, от чего следует полностью отказаться, как кофе и сигареты, или время от времени ее можно себе позволить, как стакан вина или плитку шоколада? Противостоит ли она всему, за что ратует мудрость? Теряют ли голову и мудрецы или же это свойственно лишь великовозрастным детям?

4. Если некоторые философы удостоили любовь своим одобрением, они, тем не менее, заботливо провели границы, разделяющие отдельные ее виды, как доктора, когда запрещают есть майонез, разрешают его в том случае, когда он изготовлен из продуктов с низким содержанием холестерина. Граница отделяет страстную любовь Ромео и Джульетты от созерцательного поклонения Благу у Сократа, они противопоставляют крайности Юного Вертера некровожадной братской любви, которую проповедовал Иисус.

5. Различия можно свести к категориям *зрелой* и *незрелой* любви. Предпочтительную почти со всех точек зрения философию зрелой любви отличает то, что она сознательно отдает себе отчет в хорошем и плохом в каждом человеке, в ней достаточно сдержанности, она противится идеализации, она свободна от ревности, мазохизма и одержимости, это своего рода дружба, не лишенная сексуального измерения, она приносит радость, мир и взаимность (и отсюда, наверное, понятно, почему большинство тех, кто познал желание, отказываются называть ее безболезненность словом *любовь*). С другой стороны, незрелая

любовь (хотя здесь очень мало зависит от возраста) представляет собой повествование о беспорядочных переходах от идеализации к разочарованию, неустойчивое состояние качки, при котором чувства экстаза и блаженства соединены с ощущениями непреодолимой тошноты и утопания, когда сознание, что *ответ* наконец найден, приходит вместе с уверенностью, что еще никогда он не был так безнадежно потерян. Логическая кульминация незрелой (поскольку абсолютной) любви наступает в смерти, символической или реальной; кульминация зрелой любви приходит в браке и в попытке не допустить смерти от повседневной рутины (воскресные газеты, глажка брюк, приборы с пультами управления). Незрелая любовь не знает компромиссов, а если мы отвергаем компромисс, то оказываемся на пути к смерти. Для того, кто познал вершины незрелой страсти, обзавестись семьей представляется немислимо высокой платой — он скорее спустит свою машину с обрыва.

6. Вдохновленный наивным здравым смыслом, к которому мы порой приходим при решении сложных проблем, я иногда готов был спросить (как будто ответ уже был готов заранее): «Почему мы просто не можем все любить друг друга?» Окруженный со всех сторон любовными переживаниями, жалобами матерей, отцов, братьев, сестер, друзей, героинь мыльных опер и парикмахеров, я бы предложил надеяться, что как раз потому, что каждый из нас причиняет другим и страдает сам от одной и той же боли, можно попытаться найти общий ответ, метафизическое решение мировых любовных проблем в таком же грандиозном масштабе, в каком коммунисты дают свой ответ на несправедливость международного капитализма.

7. В моем утопическом сне наяву я не был одинок, ко мне присоединилась группа людей — пусть они будут называться романтическими позитивистами, — которые верили, что, если потратить достаточно сил на обдумывание и лечение, любовь можно превратить в менее болезненное, действительно почти здоровое переживание. Этот произвольный набор психоаналитиков, проповедников, врачей и писателей, признавая, что с любовью сопряжено множество проблем, исходили из того, что настоящие проблемы должны иметь соответствующие им настоящие решения. Столкнувшись с невзгодами в большинстве эмоциональных жизней, романтические позитивисты попытались установить причины — проблемы с самоуважением, отцовский комплекс, материнский комплекс, комплекс комплексов — и предложить лекарства (лечение одиночеством, чтение «Града Божьего» [\[64\]](#), уход за садом, медитация). Гамлет мог бы избежать своей судьбы, обратиться он за помощью к хорошему аналитику, последователю Юнга; Отелло мог дать выход своей агрессии на специальной лечебной подушке; Ромео мог бы найти себе более подходящую партию через бюро знакомств, Эдип смог бы поговорить о своих проблемах в консультации по вопросам семьи и брака.

8. В то время как искусство проявляло прямо-таки патологический интерес к проблемам, сопровождающим любовь, романтические позитивисты сосредоточили свой интерес на чисто практических шагах, которые следует предпринять для профилактики наиболее часто встречающихся случаев тоски и сердечной боли. Противопоставляя свой взгляд пессимистическим воззрениям основной части западной литературы о любви, романтические позитивисты смело возглавили другое, более просвещенное и уверенное в успехе направление в той сфере человеческого опыта, которую люди традиционно отдавали

на откуп меланхолическому воображению вырождающихся художников и душевнобольных поэтов.

9. Вскоре после ухода Хлои в книжном магазинчике возле станции метро я наткнулся на классическое произведение романтико-позитивистской литературы, сочинение доктора Пегги Нирли под названием «Кровоточащее сердце»^[65]. Хотя я очень торопился в офис, я все же купил эту книгу, привлеченный фразой на розовой обложке: «Всегда ли любовь означает страдание?». Кто была эта доктор Пегги Нирли, женщина, прямо заявлявшая, что нашла решение вечной загадки? Из того, что было написано на первой странице книги, я узнал, что она

«выпускница Института любви и человеческих взаимоотношений в Орегоне, сейчас проживает в районе Сан-Франциско, где занимается психоанализом, детской терапией и консультирует супружеские пары. Автор многочисленных работ по эмоциональной зависимости, а также фаллической конкуренции, коллективной психологии и агорафобии».

10. О чем же говорилось в «Кровоточащем сердце»? В книге содержался печальный, но познавательный рассказ о мужчинах и женщинах, вступивших в любовную связь с неподходящими партнерами, с людьми, которые или жестоко обращались с ними, или препятствовали их эмоциональной реализации, или начинали пить, или прибегали к насилию. Эти люди подсознательно установили связь между любовью и страданием и не могли расстаться с надеждой, что неподходящие люди, с которыми они себя связали, изменятся и будут любить их по-настоящему. Они обрекли свои жизни на неудачу, поскольку оказались во власти заблуждения, что им удастся изменить тех, кто по природе своей был неспособен удовлетворить их эмоциональные запросы. В третьей главе доктор Нирли выявила корни проблемы, которые заключаются в неправильном воспитании родителями, передавшими этим бедным романтикам извращенное представление об эмоциональной стороне жизни. Если им никогда не удавалось полюбить тех, кто был добр к ним, то это потому, что их первые привязанности научили их, что любовь должна быть жестокой и не знать взаимности. Но благодаря терапии и появившейся возможности переработать свое детство, они получили шанс понять глубинные причины своего мазохизма и узнать, что их желание изменить неподходящих партнеров — всего лишь пережиток детских фантазий, когда они мечтали превратить своих родителей в действительно любящих.

11. Может быть, потому, что я всего за несколько дней до того закончил читать великий роман Флобера, я вдруг поймал себя на том, что провожу странную параллель между положением тех, о ком писала доктор Нирли, и Эммой Бовари. Кто она была, Эмма Бовари? Молодая женщина, жившая во французской провинции, замужем за обожающим ее супругом, которого она ненавидела, потому что для нее любовь была неотделима от страдания. Как следствие она начала вступать в противозаконные связи с неподходящими мужчинами, трусами, которые жестоко обращались с ней и от которых трудно было ожидать, что они удовлетворят ее эмоциональные запросы. Эмма Бовари была больна, потому что все время не переставала надеяться, что эти мужчины изменятся и полюбят ее по-настоящему, а между тем было совершенно ясно, что и Родольф, и Леон рассматривали ее как не более чем занятое развлечение. К сожалению, у Эммы не было возможности пройти

курс терапии и достичь нужного уровня самосознания, чтобы понять, где коренятся причины ее мазохистского поведения. Она забросила свою семью, растрачивала семейные средства и в конце концов убила себя мышьяком, осиротив маленького ребенка и обезумевшего от горя мужа.

12. Иногда интересно представить себе, насколько иначе могли разворачиваться события, если бы уже в те времена были доступны некоторые достижения современной цивилизации. А что, если бы мадам Бовари имела возможность обсудить свою проблему с доктором Нирли?

Что, если бы романтический позитивизм имел шанс вмешаться в одну из самых трагических историй, какие известны мировой литературе? Любопытно посмотреть, как мог бы развиваться диалог, если бы Эмма однажды вошла в кабинет доктора Нирли в ее клинике в Сан-Франциско.

(Бовари на кушетке, всхлипывает.)

НИРЛИ: Эмма, если вы хотите, чтобы я вам помогла, вам нужно объяснить мне, в чем дело.

(Не поднимая глаз, мадам Бовари сморкается в вышитый платочек.)

НИРЛИ: Слезы — это позитивное переживание, но не думаю, что нам следует потратить на это все пятьдесят минут.

БОВАРИ: (Не переставая плакать) Он не написал мне, не... написал.

НИРЛИ: Кто не написал, Эмма?

БОВАРИ: Родольф. Он не написал, не написал! Он не любит меня! Я конченная женщина! Я конченная идеалистка, жалкая, глупая женщина!

НИРЛИ: Эмма, не говорите так. Я уже говорила вам, что нужно научиться любить себя.

БОВАРИ: Зачем компрометировать себя, любя такую бестолковую?

НИРЛИ: Затем, что вы привлекательная личность. А все ваши беды оттого, что вы не видите, что вас влечет к мужчинам, которые причиняют эмоциональные страдания.

БОВАРИ: Но одно время это было так хорошо.

НИРЛИ: Что было хорошо?

БОВАРИ: Быть там, рядом с ним, предаваться с ним любви, ощущать кожей его кожу, вместе кататься верхом по лесу. Я чувствовала, что все это на самом деле, чувствовала себя такой живой, а теперь моя жизнь кончена.

НИРЛИ: Может быть, вы и чувствовали, что живете, но это происходило только потому, что вы знали: это не может продолжаться долго, этот мужчина не любит вас по-настоящему. Вы ненавидите своего мужа, потому что он прислушивается ко всему, что вы говорите, но вы упорно влюбляетесь в мужчин, которым нужно две недели, чтобы ответить на письмо. Если честно, Эмма, ваше представление о любви носит в себе черты зависимости и мазохизма.

БОВАРИ: Разве? Что я могу знать? Мне все равно, болезнь это или нет, я только хочу снова целовать его, чувствовать, как он сжимает меня в объятиях, вдыхать запах его кожи.

НИРЛИ: Вам необходимо сделать над собой усилие, чтобы заглянуть внутрь себя, вспомнить заново свое детство, тогда, возможно, вам станет ясно, что вы не заслуживаете всей этой боли. Это происходит потому, что вы выросли в дисфункциональной семье, где ваши эмоциональные потребности не нашли ответа, и вы продолжаете придерживаться этой модели.

БОВАРИ: Мой отец был простой крестьянин.

НИРЛИ: Возможно, но, кроме того, он был еще эмоционально ненадежен, так что вы теперь реагируете на неудовлетворенные потребности тем, что влюбляетесь в мужчин, которые не в состоянии дать вам то, в чем вы действительно нуждаетесь.

БОВАРИ: Проблема с Шарлем, а не с Родольфом.

НИРЛИ: Хорошо, милая, мы продолжим наш разговор на следующей неделе. Время вашего приема подходит к концу.

БОВАРИ: Доктор Нирли, я хотела сказать вам об этом раньше, но я не смогу заплатить вам на этой неделе.

НИРЛИ: Вы уже в третий раз говорите мне это.

БОВАРИ: Мне неудобно, но сейчас у меня так плохо с деньгами, я так несчастна, хожу по магазинам и все трачу. Только сегодня я купила три новых платья, расписной наперсток и китайский чайный сервиз.

13. Трудно себе представить благополучный исход лечения для мадам Бовари, равно как и более благополучный исход для всей ее жизни. Нужен человек, горячо верящий в торжество романтического позитивизма, чтобы вообразить, что доктор Нирли (даже если бы ей платили) смогла бы сделать из Эммы уравновешенную, не испытывающую потребности в зависимости, заботливую жену, которая превратила бы книгу Флобера в полное оптимизма повествование о спасении через самопознание. Конечно, доктор Нирли смогла *выявить* проблему мадам Бовари, но установить, в чем состоит проблема, и решить ее — совсем разные вещи, как разные вещи мудрость и мудрая жизнь. Все мы понимаем гораздо больше, чем можем сделать, и сознание безумия в любви никогда еще никого не спасало от этой болезни. Может быть, представление о мудрой и полностью безболезненной любви так же внутренне противоречиво, как представление о бескровной битве — дело не в Женевских конвенциях, такого просто не может быть. Конфликт мадам Бовари и Пегги Нирли есть конфликт между романтической трагедией и романтическим позитивизмом. Это конфликт между мудростью и противоположностью мудрости, которой является не незнание (это легко поправить), а неспособность действовать в соответствии с тем, что, как знаешь, является правильным. Сознание нежизнеспособности нашего романа никак не помогло бы нам с Хлоей. Понимание того, что мы, возможно, поступаем как безумцы, не превратило бы нас в мудрецов.

14. Настроенный пессимистически в отношении непокорности страданий, вызываемых любовью, я принял решение всецело отказаться от нее. Если романтический позитивизм оказывался бесполезным, тогда единственной действенной мудростью оставался совет стоиков никогда больше не влюбляться. Я решил впредь удалиться от мира в символический монастырь, ни с кем не встречаться, жить скромно и предаться изматывающей учебе. Я с восторгом читал рассказы о мужчинах и женщинах, которые избегли мирских соблазнов, дали обет целомудрия и провели свою жизнь в монастырях. Среди них были рассказы об отшельниках, выдержавших по сорок и пятьдесят лет жизни в уединенных пещерах, питаюсь исключительно кореньями и ягодами, не видя никого и не разговаривая ни с кем.

15. Но однажды, во время ужина в компании друзей, когда я смотрел в глаза Рейчел и не мог оторваться, а она живописала мне свой день в офисе, я вдруг был потрясен, осознав, как легко мне будет отказаться от стоической философии, чтобы затем вновь повторить все те

ошибки, которые я совершил с Хлоей. Я знал, что, если бы я продолжал смотреть на волосы Рейчел, собранные в изящный узел, или на то, как ловко она орудует ножом и вилкой, или в ее роскошные голубые глаза, я не ушел бы с этого вечера целым и невредимым.

16. Вид Рейчел заставил меня быть начеку, поскольку указал границы стоического подхода. Хотя любовь, очевидно, вообще не бывает без боли и, уж конечно, плохо сочетается с мудростью, в то же время забыть о ее существовании невозможно. Она так же неизбежна, как и неразумна — и ее неразумность, к сожалению, не является аргументом против нее. Разве не абсурдно удалиться в пустынные холмы Иудеи, чтобы питаться там кореньями и побегам? Если я хотел проявить мужество, разве любовь не предоставляла более широкие возможности для героизма? Больше того, при всех тех жертвах, которых требовала стоическая жизнь, разве в ней не было элемента трусости? В самом сердце стоицизма лежит желание *самому лишиться себя иллюзий, пока кто-то еще не воспользовался возможностью сделать это*. Стоицизм был грубой защитой от опасностей, сопряженных с привязанностью других людей, и от страха, что в этой ситуации потребуется больше терпения, чем во всем, с чем может столкнуться житель пустыни. В призыве к монашескому существованию, свободному от эмоциональных бурь, стоицизм попросту пытался отказать в законности некоторым, потенциально болезненным и от этого не менее основополагающим потребностям человека. Стоик, пусть сколько угодно храбрый, в конце концов становился трусом, когда жизнь сталкивала его со своим, пожалуй, самым ярким проявлением — в моменты любви.

17. Мы всегда можем закрывать глаза на сложность проблемы, предлагая решения, которые сводят проблему к самому простому общему знаменателю. И романтический позитивизм, и стоицизм оказались неадекватными ответами на вопросы, затронутые любовными переживаниями, поскольку и тот и другой скорее шли на устранение самого вопроса, чем входили во все его тонкости. Стоики устраняли боль и иррациональность любви, превратив их в убедительный аргумент против нее, — в результате им не удавалось найти середину между очевидной травмой, которую наносят нам наши желания, и трудностью удовлетворения эмоциональных потребностей. Вина романтических позитивистов, с другой стороны, заключалась в том, что они раздули нехитрое завоевание психологической мысли до уверенности, что любовь можно сделать для всех безболезненной, если только мы научимся чуть больше любить себя, — в результате им не удалось примирить потребность в мудрости с трудностями, возникающими при попытке претворить их науку в жизнь, поскольку трагедия мадам Бовари сводилась у них к иллюстрации банальных теорий доктора Нирли.

18. Я понял, что следует извлечь более сложный урок, который смог бы примирить противоречия любви, совместив потребность в мудрости с ее очевидной беспомощностью, идиотизм влюбленности с ее неизбежностью. Любовь нужно было оценивать без ухода в догматический оптимизм или пессимизм, без философствования на основе чьих-то страхов и морализации на основе чьих-то разочарований. Любовь научила аналитический ум известному смирению, тому, что, как бы он ни сражался в надежде добиться прочных фактов (перечисляя свои выводы и выстраивая из них аккуратные последовательности), анализ всегда будет ошибочным — а потому всегда будет нести на себе отпечаток иронии.

19. Такие выводы казались наиболее обоснованными, когда Рейчел приняла мое приглашение поужинать вместе на следующей неделе, и сама мысль о ней начала вызывать трепет в области, которая у поэтов называется сердцем, тот трепет, который, я не сомневался, мог означать только одно — я снова начал влюбляться.

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

notes

Нарративный — повествовательный. — *Здесь и далее прим. перев.*

Оккам, Уильям (ок. 1285–1349) — английский философ-схоласт, логик и церковно-политический писатель. Согласно принципу «бритвы Оккама», все понятия, несводимые к интуитивному и опытному знанию, должны быть удалены («вырезаны»; из науки.

Канетти, Элиас (1905–1994) — австрийский писатель, лауреат Нобелевской премии 1981 г.

Coup de foudre (фр.) — «удар молнии».

Эпистемология — теория познания.

Телеология — философское учение, приписывающее процессам и явлениям природы цели, которые или устанавливаются Богом, или являются внутренними причинами природы.

Синьорелли, Лука (между 1445 и 1450–1523) — итальянский живописец, представитель Раннего Возрождения, мастер изображения человеческого тела в движении и в сложных ракурсах.

Мессина, Антонелло да (ок. 1430–1479) — итальянский живописец, представитель Раннего Возрождения, мастер острохарактерного портрета.

Бронзино, Анджело (1503–1572) — итальянский живописец, представитель маньеризма (кризиса Возрождения), тяготевший к холодно-изящной, бесстрастно-точной технике изображения.

Ван Эйк, Ян (ок. 1390–1441) — нидерландский живописец, новатор в области живописи маслом, стремившийся реалистически передавать в своих картинах единство окружающего мира и внутреннего мира человека.

Семантика — наука о значении слов.

Кранах, Лукас Старший (1472–1553) — немецкий живописец и график. В своем творчестве сочетал художественные принципы Возрождения с элементами готической традиции.

Per se (лат.) — «сама по себе».

Аутентичность — соответствие, равнозначность. Например, в юриспруденции аутентичным называют документ, равнозначный по смыслу и имеющий одинаковую юридическую силу, — перевод на другой язык, равноценную копию и тому подобное.

Les Liaisons Dangereuses (фр.) — «Опасные связи», название романа П. Шодерло де Лакло (XVIII в).

Мастерс и Джонсон — американские ученые середины XX века. Врач-гинеколог Уильям Мастерс и психолог Вирджиния Джонсон в 1950-1960-х годах изучали природу сексуальности человека. Их работы вызвали значительный общественный резонанс, в основном обвинения в оскорблении морали и механистическом подходе.

Популярный афоризм из «Философии права» Г.Ф. Гегеля: «Сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек».

Камфорт, Алекс. Радость секса. Для гурманов о занятиях любовью. (Alex Comfort. The Joy of Sex. A gourmet guide to Lovemaking. Quartet Books, 1989.)

Метонимия (здесь) — перенос, замещение, подмена одного другим.

Маркс, Граучо (наст. имя Джулиус) (1890–1977) — популярный американский комик и юморист.

Батлер, Джозеф (1692–1752), епископ Даремский — английский религиозный философ. Утверждал, в частности, что проблема человечества не в излишней самовлюбленности, а напротив — в недостаточной любви к себе. Совершенная личность, по его мнению, — человек, который принимает себя целиком и полностью, таким, каков он есть.

Ружмон, Дени де (1906–1985) — швейцарский писатель, литературный критик, философ-эссеист, писал на французском языке. Автор эссе «Любовь и Западный мир».

Барт, Ролан (1915–1980) — французский критик, литератор и семиотик, автор работ по проблемам знака, символа и мифа, их социальной и культурной роли.

Троил и Хрисеида — персонажи греческой мифологии. Троил — троянский царевич, убитый Ахиллом на Троянской войне, Хрисеида (Крисеида) — дочь жреца, попавшая в плен к ахейцам. Романтическая история их любви (отсутствовавшая в античных источниках, но придуманная автором средневекового рыцарского «Романа о Трое») легла в основу поэмы Дж. Чосера и трагедии У. Шекспира.

Митчелл, Джони (р. 1943, наст. имя Роберта Джоан Андерсон) — канадская певица, композитор, гитаристка, пианистка. Автор и исполнительница композиций в стиле фолк-рок.

Троллоп, Энтони (1815–1882) — английский писатель, автор романов о быте и нравах английского провинциального мещанства.

Стаббс, Джордж (1724–1806) — английский художник, часто изображавший природу — сельские пейзажи, собак, лошадей.

Перфекционизм — стремление к высшему совершенству, абсолютному идеалу.

Беллоу, Сол (род. 1915) — американский прозаик, лауреат Нобелевской премии 1976 г.

«Похищение локона» — ироикомическая поэма английского поэта Александра Попа (Поупа) (1688–1744).

Ромер, Эрик (наст. имя и фамилия Жан Морис Шерер) (род. 1920) — французский кинорежиссер, создатель интеллектуальных фильмов.

Милль, Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ и экономист, идеолог либерализма, основатель английского позитивизма.

Дефенестрация — активная оборона посредством выбрасывания противника из окна. Термин берет происхождение из истории Чехии. Вот, например, цитата из описания королевского дворца в Праге: «Помещения канцелярии просты, без каких-либо архитектурных изысков. Через широкие окна открывается вид на город. Из этих окон в один прекрасный майский день 1618 года весьма живописно вылетели благородные паны Вилем Славата и Боржита из Мартиниц, а за ними писарь Фабрициус. От увечий благородных господ спасла мусорная куча у крепостной стены, да широкие камзолы, придавшие, словно парашюты, некоторую плавность их падению. Вылетевшие в окно должностные лица были католическими наместниками, осуществлявшими невыгодную Чехии политику папского престола. Поэтому дворяне-протестанты и обошлись с ними так невежливо. Это событие послужило одним из формальных поводов к Тридцатилетней войне, охватившей в 1618–1648 годах всю Европу. А выбрасывать чужих посланников и политических противников пражане повадились настолько часто, что для этого понадобился даже латинизированный специальный термин «дефенестрация». Первая Пражская дефенестрация, вторая, пятая...

Прост Алан, (род. 1955) — знаменитый автогонщик, многократный чемпион мира.

Фичино, Марсилио (1433–1499) — итальянский философ-неоплатоник.

Альберти, Леон Баттиста (1409–1472) — итальянский ученый, архитектор и теоретик искусства.

Линеарность — искусствоведческий термин, обозначающий последовательное движение, изменение элементов, образующих ту или иную (изобразительную, музыкальную и тому подобное) линию.

«Касабланка» — знаменитый черно-белый фильм, снятый в 1942 г. американским режиссером Майклом Кертисом. Классическая голливудская мелодрама, признанная абсолютным эталоном жанра. В 2002 г. ее объявили лучшей love story (историей любви) в кино за все время существования американского кинематографа.

Богарт, Хамфри (Хэмфри) (1899–1957) — американский киноактер, сыгравший главную роль в упомянутом фильме «Касабланка».

UCLA — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

Солипсизм — в этическом смысле — эгоцентризм, крайний эгоизм; в философии — позиция, считающая несомненной реальностью только познающий субъект, все остальное же существует только в его сознании.

Weltschmerz (нем.) — «мировая скорбь».

Уорхолл, Энди (1930–1987) — американский художник и кинорежиссер-экспериментатор, возглавивший в 1960-е гг. художественное направление поп-арт.

Дискурс — речь как целенаправленное социальное действие.

Ален, Эмиль (прозванный Шартье) (1868–1951) — французский философ-гуманист, автор учения о «творческом воображении».

Future perfect tense (АНГЛ.).

Present inperfect tense (англ.).

Онтология — философское учение об общих категориях и закономерностях бытия.

Беркли, Джордж (1685–1753) — английский философ, епископ в Киойне (Ирландия). Утверждал, что внешний мир не существует отдельно от восприятия и мышления, бытие вещей состоит в их воспринимаемости.

Post hoc (лат.) — «после совершившегося».

Фрустрация — состояние психологического дискомфорта (тревожность, подавленность, чувство безысходности). В большинстве случаев возникает как реакция на разочарование, невозможность достичь значимой цели и тому подобное.

Сен-Жермен-де-Пре — аббатство на левом берегу Сены в черте Парижа, исторический памятник.

Кант, Иммануил. Основы метафизики морали (Immanuel Kant. Groundwork of the Metaphysic of morals. Harper Torchbooks, 1964).

Утилитаризм — оценка явлений исключительно с точки зрения их полезности.

Гоббс, Томас (1588–1679) — английский философ.

Бентам, Иеремия (1748–1832) — английский философ, родоначальник утилитаризма.

Трансцендентный — здесь: запредельный, находящийся где-либо вовне, отстраненно и объективно.

Agathon haplos (греч.) — «просто добро».

Гоббс, Томас. Основы права (Thomas Hobbes. Elements of Law. Molesworth, 1839–1845).

Ницше, Фридрих. Человеческое, слишком человеческое (Friedrich Nietzsche. Human, all too Human. University of Nebraska Press, 1986).

Лакан, Жак (1901–1981) — французский психиатр. Интерпретировал психоанализ в духе психолингвистики и структурализма. По его мнению, бессознательное «структурировано как язык».

Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М.: Высшая школа, 1996.

Палимпсест — древняя рукопись, написанная на каком-либо материале (например, папирусе) после того, как с него был удален предыдущий текст.

«О граде Божьем» — сочинение Блаженного Августина Аврелия (354–430), христианского богослова.

Нирли, Пегги. Кровоточащее сердце (Peggy Nearly. The Bleeding Heart. Capulet Books, 1987).